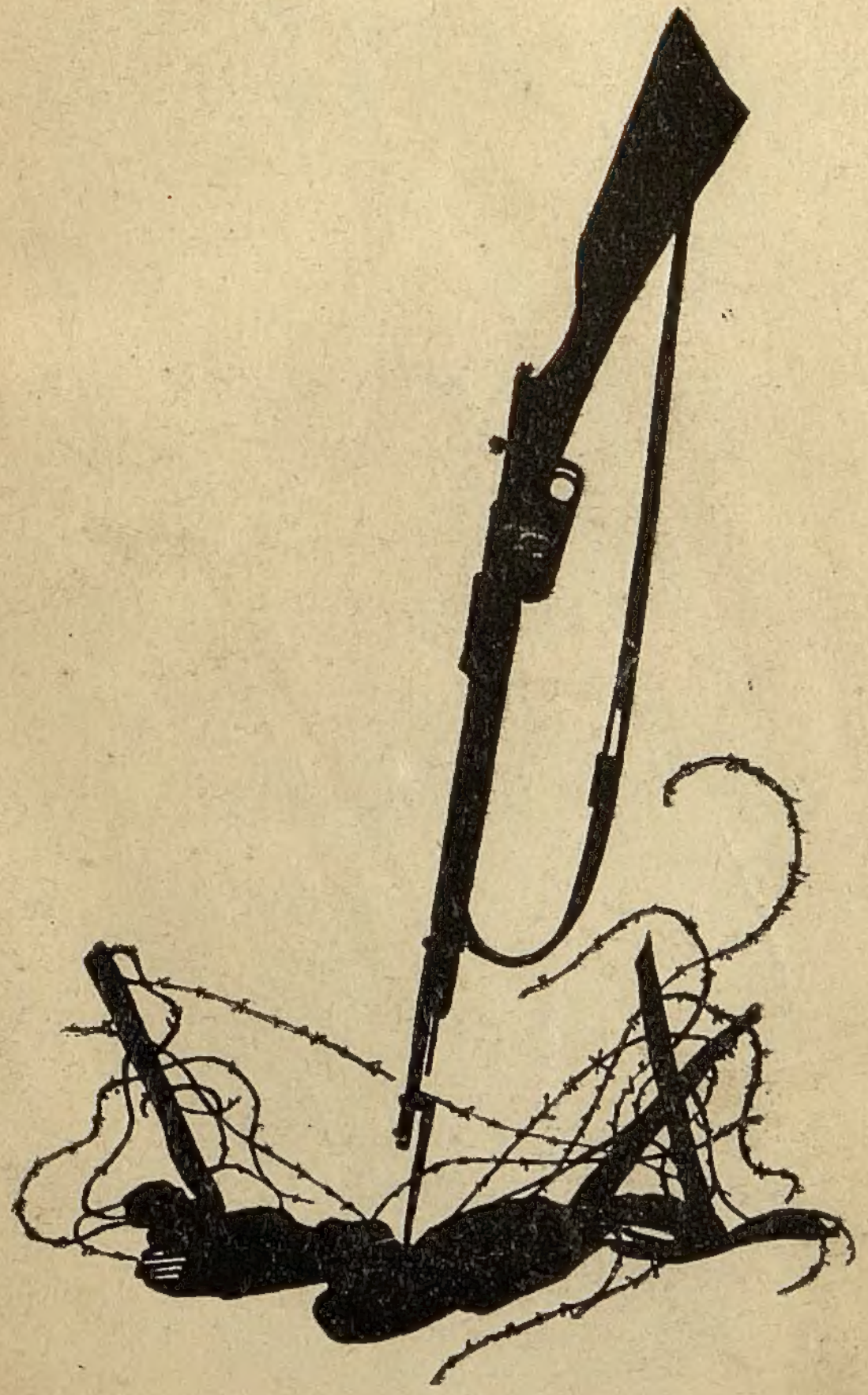
K97 5/56

К97 5/56

АЛЕКСАНДР ЗУЕВ

МИР ПОДПИСАН



ОГИЗ ГИХЛ 1934

К97
5
56

АЛЕКСАНДР ЗУЕВ

МИР ПОДПИСАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1934

БИБЛИОТЕКА
Государ Историч. Музея
№ 4106
7 " XI 1934г.

МАРИИ ИЛЬИНИШНЕ
УЛЬЯНОВОЙ

I

Над лесом вставали привидения.

Одно за другим возникали они из-под земли, огромно вытягивались и судорожно крючили руки над зелеными вершинами. Потом, уронив на грудь голозу, медленно таяли в мареве июльского полдня. Только желто-грязноватый мазок еще оставался некоторое время на небе.

И новые, и новые вздымались над лесом и погибали в корчах белосаванные дьяволы.

В небе замерли круглые облачка, недвижные в безветрии. Тусклая муть застилала дали.

Лежа на земле, Мариша следил за черными мурашиками, суетливо бегавшими туда-сюда по веткам орешника. И раздвинув кусты, снова припадал к биноклю.

Вниз от опушки лежало пустынное поле. Только два старых раскидистых дуба стояли по середине его, синея глубокой тенью на блеклой траве. Меж ними, над далеким лесистым холмом все так же вытягивались белые саваны.

Мариша повел биноклем вправо. Там, на лысоватом взгорьи упорно вставали и опадали взлохмаченные кусты разрывов. И были видны извилисто пробежавшие вверх в красноватый, выжженный солнцем подлесок нити, напоминавшие реденькую, разорванную паутину. То были окопы противника.

Только что звонили на батарею из штаба, что первая и вторая линии оставлены немцами.

— Ну, теперь, слава богу, дело пойдет,— широко перекрестился чернобородый капитан Сараджев, командир батареи.— Мы поработали на славу. Разведка доносит, что и кофей оставили недопитым, хо-хо! Вот выкурить их с этой горки, и вся высота будет за нами.

Он растегнул гимнастерку и ожесточенно поскреб белую бабью грудь, сбрасывая с пальцев катышки липкой грязи.

— Эх, в баньку бы теперь! — сладостно зажмурился капитан и, сразу приняв озабоченный вид, сказал сутулому поручику с биноклем на груди: — Я привалюсь соснуть на полчасика, а вы тово... гвоздите и гвоздите по левому участку, пока видимость хорошая. Не давайте ему отдышаться.

Проходя мимо взявшего руки по швам Мариши, капитан слепо глянул на него красными, широко разинутыми глазами. Видимо, не узнал. Улегся под кустом на подостланной палатке, по-детски подтянул коленки и тут же захрапел.

— Ого-онь!

— Ого-онь! — запел учительский тенорок поручика.

Номера поспешно спрыгнули в окопчик.

За деревьями метнули желтым огнем шестидюймовки. В воздухе рвануло. Раз-два-три, очередь.

Беловатый реденький дымок, цепляясь за кусты, пополз меж деревьями.

В отдалении басовито ударила двенадцатидюймовка.

Канонада усиливалась.

Уже второй день громила артиллерия позиции немцев. Гудел небесный шатер, раздираемый летящими в высоте снарядами. И земля сотрясалась от раскатистого гула орудийной переклички.

Мариша не спал вторую ночь. Он впервые наблюдал эту грозную картину артиллерийской дуэли, всю ночь озарявшей багровыми сполохами его бессонные скитания от заставы к батарее и обратно.

И теперь, к полудню, не хватало в сухом лесном зное дыханья, отяжелела голова, кровь стучала в виски, и в глазах часто всплывали круглые темные пятна. Казалось Марише — он заболел непонятной болезнью, от нее нудно дрожит внутри какая-то перепонка; и раздражающе неестественным, как в сказке, представляется все кругом: и странно затихший лес и безцветное солнце и недвижимые, декоративные облачка в небе. Самый воздух, казалось ему, иссушал ноздри тонкой сладковатой отравой, чем-то вроде тараканьего порошка.

Мариша усиленно втягивал заглохшим черным ртом воздух, и темнота волнами накатывала ему в глаза.

„Надо полежать в тени, — подумал он, — я сейчас упаду".

Он перешел заброшенную лесную дорогу, густо запруженную теперь артиллерийскими передками, двуколками с провиантом, санитарными парусиновыми фурами. Погромыхивая на корневицах, вся эта железная каша медленно подвигалась вперед, в тени огромных сосен. Возницы хмуро причмокивали на лошадей. Пробившийся сквозь высокие кроны солнечный луч выхватывал из сумрака то лоснящийся рыжий круп лошади, то выгоревшую спину ездового, то зайчиком пробегал по зелено-полосатой покрышке зарядного ящика.

Мариша вышел на затоптанную полянку подле ручья. В траве валялись обрывки окровавленного бинта, консервные банки, измятая бумага. Стоял здесь удушливо-теплый иодоформный запах, — недавно, видимо, снялся отсюда походный лазарет.

Зажав нос, Мариша перебежал полянку и спустился к ручью, просвечивавшему до дна красной медью лесной спокойной воды.

В тихой заводи чуть вздрагивали отражения высоких сосновых вершин. Стайка рыбешек собиралась на пригретой солнцем песчаной отмели и бросалась врассыпную каждый раз, когда прокатывался по лесу глубокий подземный гул от удара двенадцатидюймовки.

Мариша склонился над водой, чтобы смочить волосы, и облегченно почувствовал хлынувшую из носа кровь. Он черпал в горсть воду и с наслаждением погружал в нее жаркие ноздри.

„Вот и я пролил кровь за отечество“, — нехитро пошутил над собой Мариша, роняя в воду тугие рубиновые капли.

Осторожное покашливание донеслось до его слуха. Мариша настороженно вскинул голову.

По ту сторону ручья сидел разутый солдат. Он тупо смотрел в воду, перебирая пальцами ног.

— Ты чего тут? — окликнул Мариша.

Солдат вяло посмотрел на него запавшими глазами.

— Землей завалило, голова шибко болит, пришел мало-мало отдохнуть.

„Не дезертир ли?“ — подозрительно оглядел его Мариша.

— Слышь, — оживился солдат, — баб туда пригнали цельную роту, ей-бо! Ударницы! Мало-мало прижали их тут в ходах: „Вам, мол, барышни, все одно помирать, как вы есть батальон смерти, так хошь побалуйте солдатиков“.

Солдат усмехнулся спекшимися губами.

„Наверное дезертир, — соображал Мариша, — ишь как смакует! „Мало-мало“... И слова-то у него дезертирские“.

— Как на позициях? — строго спросил Мариша.

— А как? — деловито стал обуваться солдат. — Одни говорят — наступать, другие — не наступать. Не разберипоймешь. Я так полагаю, что дело теперь туда пойдет.

И махнул рукой вверх по ручью, в лесную чащу. Закинул ружье и медленно, разбитой походкой побрел туда сам — в сторону, противоположную от фронта.

„Дезертир, ясно“, — проводил его глазами Мариша.

Продираясь обратно в зарослях ольховника, он спугнул другого солдата. Подозрительно оглядели они друг друга, и солдат зашагал прочь, лениво обмахиваясь зеленой веткой.

На суку Мариша заметил трепыхающуюся бумажку. Было выведено на бумажке каракулями:

„Братья! Офицера хочут делать наступление. Не нужно ходить, нет тех праз, что раньше было. Они изменники, наши враги внутренние, они хотят опять, чтобы было все по старому закону. Вы хорошо знаете, что каждому генералу скостили жалованье, вот они и хочут сгубить нас: мы только выйдем до проволочных заграждений, нас тут и побьют. Нам все равно не прорвать фронт, нас тут всех сгубят. Я разведчик, хорошо знаю, что у немца наставлено в десять рядов рогаток и наплетено заграждение, и через 15 шагов пулемет от пулемета. Нам нечего наступать, пользы не будет: если пойдем, то перебьют, а потом некому будет держать фронт. Передавайте, братья, и пишите сами это немедленно. С почтением писал темный лес“.

Мариша скомкал бумажку и сунул в карман.

— Ишь ты какой! — посмотрел он вслед уходившему солдату.

На заставу Мариша вернулся тревожный.

— Дезертиры бегут в лесу, — сказал он, завидев в окопчике взводного.

Тот не двинулся. Подойдя ближе, Мариша увидел, что взводный спит. Он заснул сидя, с винтовкой меж колен, сморенный тяжким сном. Солнце грело его в упор, голова свалилась назад, из-под фуражки бежали по щекам струйки пота, и мухи облепили раскрытый рот.

В кустах, положив под голову скатанные шинели, спали солдаты.

Мариша прошел на опушку. Часовой и подчасок, вытянувшись в кустах, спали оба.

— Вот так застава!

Мариша вынул из рук часового бинокль и улегся рядом. Земля была теплая, сухо пахла трава.

Над лесной горкой попрежнему вставали привидения. Они тянулись ввысь и судорожно кривились, как бы разрывая стягивавшие их пелены. И поникали головой, как бы заглядывая под ноги себе и ужасаясь содеянному. И медленно таяли.

Артиллерия гвоздила. Там, под лесной горкой, решалась сейчас судьба наступления. Солдаты называли эту высоту Могилой. Сюда стягивали лучшие части для решительного штурма. Перебросили черно-красный полк „гусаров смерти“ с черепами на рукавах. Поставили только что прибывшую из тыла „Роту личного примера“ и еще какой-то, вызывавший всеобщее любопытство, отряд „Креста и сердца“, с неким полусумасшедшим поручиком во главе. Теперь еще женский батальон.

Что-то там делается? Мариша медленно обводил биноклем затянутую серой дымной мутью линию позиций. Ничего не видно. Только в промежутках между очередями батареи доносило оттуда долгую, прерывистую ноту, напоминавшую далекий дрожащий вой собачьей своры.

Что это? Кричат „ура“, или это фальшивит слух, заболевший от двухдневной пальбы?..

А мурашики все снуют и снуют по прутьям орешника.

Мариша послюнявил палец и обвел им вокруг ствола. Наткнувшись на кольцо слюны, мурашики густо скоплялись с обеих сторон в черные тревожные толпы.

„Ага, испугались, малыши!“ — удовлетворенно подумал Мариша и закрыл глаза.

Тупое безразличие охватило его. Сладко заныло все тело.

„Итак, это война. Что же это такое война?“ — пытался подхлестнуть Мариша засыпавшую мысль. Но неодолимо клонилась на руки голова, и все глуше и отдаленнее бухали орудия.

„Все это какой-то бред,. я болен“, — не сопротивлялся более Мариша.

Проснулся Мариша поздно. В кустах орешника уже легли косые тени, и низкое солнце золотило в зарослях спутанные сухие травы.

Не было около ни часового, ни подчаска. Мариша испуганно сел и прислушался. Кругом была непонятная тишина. Только где-то за горизонтом, как уходящая гроза, погромыхивают еще орудия.

Мариша кинулся на заставу: там никого не было. В земляной яме еще тлели сучья, голубая струйка дыма текла кверху. В окопчике валялись брошенные подсумки, перевернутый котелок казал закопченное дно.

„Отступление! — заметался Мариша. — Скорей, скорей!“

Запыхавшись, прибежал он на батарею. Орудия были явно брошены: зияли распахнутые затворы, замки пропали. Прислуга отсутствовала.

„Вот так попал! — растерянно огляделся Мариша. — Что же теперь делать?“

— Ты чего тут ходишь? — вдруг окликнул его спокойный голос.

У костра сидел на корточках усатый, круглоголовый солдат, помешивая сучком в котелке.

— Давно началось отступление? — тревожно подбежал к нему Мариша.

Солдат расправил усы.

— Как тебе сказать? Вчерась еще.

— Как вчерась? — стал втупик Мариша.

— Да очень просто.

Солдат залился тихим, ехидным смешком.

— Ох, и воины! Откуда вас, таких зеленых, пригнали только? Тут война кончилась, а он — отступление. Проспал, небось?

— Да в чем дело, товарищ, скажи толком? Куда все ушли?

— Куда? А на митинг — вот куда!

Солдат неторопливо достал из сумки ложку и, обжигаясь, отхлебнул из котелка.

Рассказ его был немногословен. Два полка, высланные на подкрепление, взбунтовались и пошли снимать артиллерию.

— На страшное дело пошли, боженька мо-ой. Командира нашего Сараджева взяли на штык. Замки с орудий побросали в яму в ручей. А я вот тут дневалить остался. Вишь, братец ты мой, какие дела!

— Да, дела!

Мариша огляделся. Под кустом, наглухо накрытый палаткой, лежал капитан Сараджев. Руки его по-христиански были сложены на груди: об этом, видимо, позаботился неторопливый сторож.

— Что же теперь будет? — подавленно спросил Мариша.

— А что будет! Ничего и не будет. Пошабашили, значит, войну — и конец.

Сторож расправил усы и принялся за еду.

„И конец“...

Мариша присел к костру. Неужели это конец? Он оглянулся на выставившиеся из-под палатки сапоги капитана, еще утром мечтавшего о горячей баньке, и понял, что случилось непоправимое.

II

И вот над Полесьем проносились осенние бури. В пустых полях один за другим проходили густые занавесы дождей. Земля совсем раскисла. Реденькая, ржавая мережка травы легко расползалась под ногой. Тускло, угрюмо, холодно висело низкое небо.

В глухой мути, придавившей землю на многие недели, смявшей в грязь опалые листья и серые колючки полос, только темные белорусские хатенки горели и в осень яркой золотой зеленью крыш: зацвели на долгих дождях мхи.

Раскиданные в беспорядке вдоль дороги, хатенки эти точно пригнулись под дождями, глядели в поля из-под низко надвинутых крыш слепо и подозрительно.

Боялись сказать, чего ждали с росстаней. Молчком про себя таили, но глаза держали на дорогу. Жадно стерегли.

В полях шли дожди, гонимые ветрами, и дорога под самыми окнами хатенок застыла глубочайшей грязью.

Чтобы попасть в штаб, нужно было задворками обойти деревню и за околицей, у перекрестка, — там, где под зацветшей лишайником крышкой креста зябко поджал ноги одетый в лоскутный передничек Христосик, — только там можно было перейти по настилу эту непроходимую топь.

Штаб стоял в помещичьем фольварке, — хозяин его, старый поляк, бежал к немцам. Барский дом стоял особняком среди старинного парка, где были дубы и клены в три

охвата и пруд дремал, весь застланный зеленой ряской.

В огромном доме было тихо. Гудели в заслонках жарко затопленные печи. Усатые воеводы в цветных жупанах хмуро смотрели со стен. Золотым тиснением переплетов спокойно посвечивали библиотечные шкафы. И в окнах яростно размахивались на ветру голыми сучьями старинные липы.

Сквозь ходнем ходившую на ветру густую сеть ветвей штаб выглядывал на дорогу синими глазами Мариши, — так в штабе ласково называли вольноопределяющегося Мариева за девичье лилейное лицо и певучий голосок. Все чаще выходил Мариша на засыпанную жухлой листвой веранду, закуривал папироску и, спрятав в глубокие карманы руки, досадливо моргал на падавшие капли.

Ни то, ни се. Собственно, дядю винить ни в чем нельзя, дядя, конечно, не политик, а солдат. Откуда ему, в самом деле, было знать, что пойдет этот кавардак?..

Писал маме полковник: „Посылай-ка крестника ко мне на фронт пороху понюхать, полно ему сидеть за твоей юбкой. Стыдно, сестра!..“

„Пороху понюхать...“ — только что кончившему гимназию Марише это нисколько не казалось соблазнительным. К войне он не чувствовал интереса. Война слишком затянулась, к ней уже привыкли в тылу. И окончательно примелькались в журналах овальные портретики награжденных капитанов и поручиков.

Первое, детское еще впечатление Мариши, связанное со словом „война“, было маленьким и неприятным, таким оно запоминалось навсегда.

Был тогда Мариша стриженым пятиклассником. В одну из перемен разнесся по гимназии слух, что недавно уехавший добровольцем на фронт семиклассник Митенька Невзоров убит. Вместо немецкого, гимназистов в тот день согнали в актовый зал на панихиду, и кудрявый, нежноголосый батюшка сказал в конце краткое слово на евангельский текст: „Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя“. А потом по классам обходили с подписным листом, собирали деньги на увеличение портрета убитого, чтобы поднести этот портрет его матери.

Мариша, первый по успехам ученик, участвовал в делегации от пятого класса. Он запомнил узкую грязную лестницу, кажется, на шестой этаж, и дверь с жестяной

вывеской: „Дамская портниха, а также беру ажурную строчку“. На стук вышла полная маленькая женщина с растерянными глазами. Она впустила всех в комнату и молча выслушала заранее заготовленную речь медалиста-семиклассника Гусева:

— Вы не должны плакать: он умер героем!..

Гусев при этом высоко поднял портрет угрюмого мальчика в форменной курточке. Маленькая женщина заплакала. Она вдруг схватила стоявшего поблизости тоненького чистенького Маришу и крепко притиснула к груди.

Марише было очень неудобно и душно. От женщины пахло кухней. Вдобавок он почувствовал упавшую за ворот холодную капельку слезы и неприятно вздрогнул.

Но портниха не отпускала стиснутых рук, и Мариша беспомощно выглядывал из-под ее локтя на оклеенную старыми выкройками перегородку. Гимназисты стояли тихо. Где-то, глубоко внизу, пилили дрова; ровные вздохи пилы в сумрачной тишине комнаты разносились, как близкое, учащенное дыхание.

Вот это тягостное, неприятное ощущение навсегда осталось у Мариши. И самое слово „война“ с тех пор отзывалось для него кухонным сальным запахом и как бы больным, звенящим дыханием чужой груди. И еще — холодная, как этот дождь, капелька, червячком уползшая за ворот. Брррр!..

За стеклянной дверью слышит Мариша назойливый гудочек телефона: один, два, три — вызов штаба. Теперь это бывает редко, и Мариша торопливо хватает трубку.

— Канцелярия штаба слушает.

Трубка, подышав в ухо, посыпала скороговоркой:

— Говорят с центральной штаба... Да... Вы слушаете?.. Примите телефонограмму: к вам выезжает сенатор... се-на-тор... Да... Просят выслать подводу... Да... Се-на-то-ру!

Мариша в волнении подтягивает закрученный жгутом телефонный шнур.

— Слушайте, центральная, пришлите копию с вестовым. Да сейчас же!

Мариша делает стойку перед высокой дверью кабинета начштаба — каблуками — щелк! шпорами — дзинь! — и настораживает ухо:

— Разрешите войти, господин полковник?

Трубно рыкает в глубине с детства памятный бас дяди:
— Раз-ре-шаю.

Осторожно прикрыв дверь, — снова — щелк, дзинь! руки по швам — и, подавшись на носки доотказа, по-уставному тянется Мариша: вот-вот полетит птицей. И чинно ждет вопроса, хоть так и подмывает выпалить скорей важную новость.

В кабинете начштаба холодная, строгая тишина. Приспущены шторы на окнах. Чуть зеленеют на стенах обширные карты фронтов, кажется в сумраке — то разводы плесени пышно и уродливо зацвели на обоях.

Начштаба лежит под картами в узком корыте походной кровати, как покойник в гробу. Сумрак делает глубже провалы глаз и щек, резче выступает крупный нос. Окостенело вытянуто длинное тело.

Но вот шевельнулись на груди тяжелые руки.

— Плохо, — сказал полковник и сел.

Он отложил в сторону стопку блокнотных листиков; по крупному почерку узнает Мариша — от полковника Печина с позиций.

И замечает Мариша — сердится начштаба; с детства знакомы эти признаки: чуть белеет сизоватый нос, и двигаются большие хрящеватые уши.

— Плохо, — повторил начштаба снова, оглядывая Маришу, застывшего у двери готовой к полету птицей. И — уже подобревшим голосом: — Ну, садись, Мариша. Чего ты?

— К нам едет сенатор, господин полковник. На станцию просят выслать лошадей.

— Не по-ни-ма-ю! Что за сенатор, зачем сенатор, откуда сенатор? Какой-нибудь уговаривающий?

— Не могу знать, — неуверенно усмехнулся Мариша.

— Ну что ж! Помогай ему всячески бог. Вон от Печина пакет пришел. Митингуют. Командира первого батальона Космачева хотели на штыки поднять. Вот оно — какие дела!

Ухватившись руками за край, полковник вытянул увязнувшее тело из кроватной ямы.

— Вот что, Мариша, поезжай-ка ты обратно домой, в Москву. Тут тебе больше делать нечего.

— Как? — мгновенно залился счастливой краской Мариша.

— Да так. Отвезешь в штаб армии мое письмо и кое-какие документы, — мне нужен надежный курьер. И матери так будет спокойней.

— А вы, дядя?

— А я... что ж...

Полковник несколько раз прошелся по комнате и прислонился, высокий и прямой, к изразцам печи, нащупывая, где теплее. Посмотрел за окно в черный, обливающийся дождем сад, и взгляд его сразу стал тусклым и пустым.

— Видишь ли, Мариша, наступают трудные, а может быть, и страшные времена. Будущее никому не известно. По счастью я одинок, и мне так легче. Ну, иди.

— Слушаю!

Мариша сделал полный оборот — щелк, дзинь! — и замер. Вдруг томительно ощутил бессильное свое неуменье ответить чем-либо на эти торжественно прозвучавшие слова: „Будущее никому не известно“. Досадливо подумал, что надо было поблагодарить дядю за родственную заботу, поцеловать, обнять, что ли. И показалось еще, что дядя должен сказать что-то вслед, окликнуть, даже почудился его голос.

— Чего изволите?—сделал снова плавный оборот Мариша.

— Ничего, это я с собой. Хороший, говорю, офицер Космачев, представлен уж был в капитаны. Если бы... да... не это самое... Иди, иди!

В сумрачном кабинете опять стало тихо. Только в соседней столовой, где стоят вокруг стола двенадцать высоких стариков-кресел, большие часы глубоко и торжественно ударили неизвестные полчаса.

Мариша поднялся на цыпочки и двинулся к двери.

III

В дубовой столовой (в штабе называли эту просторную комнату „собранием“) с утра кружит генерал. Он нервно и безуспешно заправляет в рот короткие седые усы и, остановившись в углу, подолгу смотрит в парк, в его черные, пустые аллеи.

Под окном, на измятой клумбе стынут под дождем астры, скрюченные, с поникшими головками, в мертвых лохмотьях листьев. Близко гремит по водостоку вода.

— О боже, боже! — громко вздыхает генерал и снова начинает кружить по столовой, проводя рукой по спинкам кресел, по столикам и шкафам, — пустота тяготит его.

Как бы невзначай, иногда останавливается генерал перед

высокими часами и внимательно смотрит в оловянную тарелку циферблата с латинской надписью по кругу. Туго ползут стрелки, медлителен маятник. Генерал прислушивается, как глухо и потаенно отсчитывают время колеса механизма, и вздыхает снова.

Кто-то в штабе сказал это слово — „плен". Да, это был плен, тяжелый, бессмысленный. Плен, буквально плен.

Зачем он здесь, кому он тут нужен? И что будет с ним дальше в этой проклятой, гнилой дыре, среди лесов и болот?

Сегодня генерал особенно нервничал. Утром он получил письмо из Петрограда, — конверт был вскрыт. Значит, читают, любопытствуют. Хорошо еще, что жена пишет по-французски, так не всякий прочтет. Но как же они смеют!..

— Дорогой мой, как они смеют? — ухватился генерал за рукав Мариши, вошедшего в столовую.

— Чего изволите, ваше превосходительство? — вытянулся сразу Мариша.

— Нет, какова, говорю, наглость! Мои письма вскрывают!

Счастливая краска сбежала с лица Мариши. Он покорно уставился в белесые брови генерала и приготовился слушать.

Генерал, как говорили в штабе, страдал „недержанием теплой водички". Штабные офицеры не взлюбили его с первого дня. Попал он на фронт „в ссылку" — прямо из дежурных генералов царской свиты, сразу после переворота, — растерянный розовый толстячок, с наивными выпуклинками голубых глаз, с беспомощными бровями, заискивавший первое время даже перед поручиками-адъютантами.

Звали его в штабе „куриным генералом": выведали как-то адъютанты его заветную мечту — выйти на пенсию, уехать в имение на юг и разводить кур.

Сплетничали адъютанты, что генерал не спит по ночам, все молится, вздыхает и плачет. Это он будто бы вывел в садовой беседке надпись: „Боже, спаси Россию!" Это от ночных слез у него будто бы всегда красные глаза.

Да что это за генерал! Поспел на фронт, можно сказать, к шапочному разбору. Ведь войны-то нет...

Генерал и сам чувствовал эту всеобщую неприязнь штабных к нему. Только Маришу, неизменно замиравшего на-вытяжку при встрече („Наш Мариша тянется теперь за всю армию", — подшучивали в штабе), любил генерал.

Один Мариша продолжал величать его по-старому „вашим превосходительством“ и беспрекословно выслушивал его унылые сетования.

И теперь, пойманный за рукав генералом, Мариша с напряженно-внимательным лицом вслушивался в его плаксивый голос, обдумывая, как бы поскорей выкрутиться.

— Ваше превосходительство,—осенило его,—разрешите доложить: к нам едет сенатор.

— Какой сенатор?—сразу сбился генерал.—Зачем ему сюда ехать? Вот так новость!

— Не могу знать,—сделал Мариша шаг в сторону.—Господин полковник полагает—по всей вероятности, из уговаривающих.

— Ага! Так, так,—заморгал генерал, соображая.—Кто ж бы это мог быть?

— Не могу знать,—обернулся вполоборота Мариша и торопливо скрылся за дверью.

Генерал опять закружил по столовой.

„Ага! Так вы говорите из уговаривающих? А вдруг с какими-нибудь важными полномочиями, для каких-нибудь переговоров? А может быть, просто сбежал человек от тыловых беспорядков? Вон жена пишет...“

Генерал вспомнил усыпанное восклицательными знаками письмо жены и завздыхал снова.

— О боже, боже мой! Что же будет дальше?..

Осенние чернильные сумерки густеют за окном. Все так же безумолчно плещется в железной трубе вода. В доме тихо, сонно. Только из бокового коридорчика доносится свист. Это прапорщик Вильде, переводчик штаба. „Зайти к нему, что ли?“

— Вы не спите?—осторожно стучит в дверь генерал.

— Чего изволите?—откликается Вильде, не открывая двери.

— Не спите, говорю?

— Сию минуту, генерал!

Шаги за дверью удаляются. Генерал терпеливо ждет.

Наконец щелкает задвижка, и прапорщик, вытирая полотенцем руки, пропускает генерала вперед.

— Все занимаетесь?—нерешительно оглядывается генерал.

В комнате переводчика горит глухой красный фонарь. От этого совсем темно в комнате, хорошо видны только длин-

ные, узкие руки Вильде,—красные в близком свете фонаря и как бы отдельно от туловища священнодействовавшие над столиком.

Вильде, как бы продолжая прерванный разговор, говорил тихо и очень язвительно:

— Ценно для истории: Александр Федорович целуется.

Генерал с любопытством посмотрел на свет мокрый еще негатив. На трибуне, трепетавшей флажками, человек с черным лицом и белыми волосами ежиком, уставив трубочкой губы, тянулся к другой чернолицей голове.

— А вот не угодно ли? Александр Федорович на параде. Хи-хи! А идет-то как? Не в ногу!

В банночке с закрепителем колыхался свежий отпечаток фото: серый, уходящий вдаль строй солдат с кругло разинутыми ртами („ура-а-а!"), и перед ним, в сопровождении генералов, шагает маленький человечек в петербургском осеннем пальто. Он красиво, на отлет, держит под козырек, но шагает, действительно, не в ногу: генералы только заносят левой, а он уже ступил правой. От этого, должно быть, у ближайшего толстяка генерала дьявольски лукаво закушена губа,—вот сейчас не выдержит и прыснет.

— Да-а,—говорит прапорщик Вильде, убирая в стол негативы,—я все-таки думаю, что этот человек—провокатор.

— Н-да? Вы так думаете?—вежливо поддерживает генерал малоинтересный для него разговор.

— Я в этом убежден, генерал.

„Ваше превосходительство",—поправляет его про себя генерал и спрашивает безразлично:

— А почему именно такое ваше мнение?

Прапорщик сдергизает коврик с окна и тушит фонарь. И точно в свете дня можно теперь говорить без обиняков, продолжает деловито:

— Приехал к нам на митинг. Ну, конечно, вызвали музыкантскую команду, трам-та-рарам—конечно, истерическая „зажигалка", целование с солдатом и прочее. Словом, уломал. Вынесли резолюцию: наступать. Остался он у нас переночевать. А наутро приходят к нему представители полковых комитетов и заявляют: отдумали, не будем наступать. Прослезился, говорят, и уехал дальше. „Не желаю, мол, с вами после этого разговаривать". А тут через день его же приказ о наступлении. Ну, тех, кто пошел в

наступление, и перекрошили. И немцы крошили, и свои сзади. Вот оно как!..

И размахивая снимком в воздухе, для просушки, прапорщик с прежней тихой язвительностью повторил:

— Ценно для истории, господин главноуговаривающий.

„Да что он мне все про историю?“ — подумал генерал с неудовольствием, — показалось, что прапорщик в чем-то поучает его.

Генералу, как и другим офицерам штаба, не нравился этот долговязый прапорщик с некрасивым бородатым лицом, с остро-веселыми точечками в глубоких берложках глазниц. Среди офицеров штаба слыл он ученым человеком, чуть ли не профессором, говорили — знаток каких-то древностей, гробокопатель.

„А мужик мужиком“, — оглядел его искоса генерал.

К запущенной бороде и худым плечам прапорщика, может быть, действительно и был бы хорош длиннополый профессорский сюртук, но военная короткая гимнастерка с опавшими погонами сидела на нем ужасающе куцо и нелепо.

„Свистящей глистой“ злоязычно прозвал его кто-то в штабе, — вероятно, в отместку за те ехидные прозвища, которыми наделял он окружающих. Но все были вынуждены терпеть его снисходительное самодовольство: в спорах, затевавшихся в собрании, он легко и грубо расправлялся с противниками. Многие носили на себе занозы его колких острот. Офицеры с ним поэтому не спорили и в разговорах старались держаться знакомых и близких пределов.

— История — дело десятое, — сказал генерал с осторожной наставительностью. — О завтрашнем дне подумать надо. Что завтра с нами будет?

— Завтра вас всех сволокут на так называемую свалку истории.

— Как?.. — потерялся сразу генерал.

— Очень просто: вы уже сегодня никому не нужны. Ведь войны-то больше нет.

— Позвольте! А родина? А Россия? — запальчиво вскочил генерал.

— Ну, они будут только рады.

— Как?!

— Родина и Россия — это, видите ли, живые люди. Они просятся домой, они хотят мира, им не нужна ваша война.

— Странно слышать от господина офицера...

— Ну, какой я офицер! Вообще, не знаю нелепее этой профессии. Война стала теперь делом средней руки математиков и неудачливых инженеров. Скучно, и никакой героики. Понимаете?

Генерал тупо молчал. Прапорщик Вильде выставил из затянутого сумерками угла бородатое, насмешливое лицо.

— Вообще дело разрушения — самое несложное дело. Кретины и идиоты больше подходят для этого занятия. Вдохновения нет, нет идеи войны. Понимаете?

Прапорщик Вильде как бы сочувственно оглядел осевшего в кресле маленького генерала. Кончики губ его самодовольно закачались:

— Вы можете ехать сажать цветы, генерал. Советую вам переменить профессию.

„Ах ты, наглец!“ сказал про себя генерал и рванулся в кресле, сразу обессиливая от нахлынувшего гнева.

В столовой зазвонили в сковороду — сигнал к ужину. Генерал облегченно поднялся.

— Заболтался я тут с вами, — сухо бросил он, — идем-те-ка.

Они вышли в столовую. Там, негромко перерутиваясь между собой, штабные „холуи“ Япошка и Наполеошка накрывали стол. У входа, спиной к горячей печи, вытянулся Мариша. Медленно ходила над столом только что зажженная лампа, отражая тусклые блики на высоких резных спинках кресел. Глубокой синевой отсвечивали окна в сад.

С глухим откашливанием в столовую шагнул начштаба. Он посмотрел в красное, надутое лицо генерала и забасил недовольно, не обращаясь ни к кому:

— Кругом митингуют. На позициях сплошь митинги, на кухне у нас Япошка с Наполеошкой бунчат целые дни. Недоставало еще, чтобы и господа офицеры занялись тем же.

Прапорщик Вильде не замедлил откликнуться.

— А что вы думаете? Конечно, недоставало. Сидим мы тут на усадьбе и думаем отмолчаться. А ведь какие идут часы, какие наступают события!

Вильде пошлепал ладонью по стенке „глубокоуважаемого шкафа“ (так называл он старинные высокие часы в столовой) и продолжал приподнято:

— Над фронтом взошла комета, она горит кровавым

огнем, видна днем и ночью. Она имеет форму вопросительного знака и читается так: за что? Все ищут ответа на этот вопрос. Вот отчего споры и разговоры разлизаются по фронту. И пусть себе спорят и разговаривают. Только так и отыскивается истина. Как же иначе?

— Фронт не место для разговоров,— грубо рявкнул начштаба и повернулся, как бы показывая, что спор окончен.

— Вот именно,— обрадованно подхватил генерал под руку начштаба, увлекая его, прямого и неподатливого, в коридор.— Ох, знаете, пофилософствовал я сейчас с этим Вильде. Ну, и нагле-ец!.. Вот, Яков Сильвестрович, что я подумал: интеллигенты погубили армию. Зачем их только делали офицерами? Скверная ошибка. Мало у нас фельдфебелей и унтер-офицеров, честных и исполнительных? Эти, по крайней мере, не рассуждали бы. Вы только послушайте, что́ он говорит!..

Начштаба упрямо застрял на пороге. И как давеча Мариша, пустился на хитрость:

— Э, не видали, кого слушать. Берите-ка пример с меня, я уже давно ни с кем ни о чем не спорю. Простите, я вас перебью, Петр Петрович,— вы знаете новость: к нам едет сенатор.

— Ах, да, да!— встрепенулся генерал.— Так что́ вы со своей стороны полагаете?

Начштаба высочайше поднял плечи и молча двинулся к столу.

За столом офицеры рассаживались по чинам. На председательское кресло, покрестившись, опускался генерал, справа от него садился начштаба. За капитанами и поручиками шли младшие. Последним усаживался на краешке стола, рядом с прапорщиком Вильде, Мариша.

— Полага-аю, опя-ать из уговаривающих,— по-семинарски, нараспев заокал хозяин „собрания", поручик Гедеонов.— Вон в соседней дивизии, слышно, тоже какому-то сенатору солдаты голову проломили. Подходили по очереди, говорили „здрасьте" да каской его — бац-бац по мягкой шляпе. Как же, едва унес с фронта ноги.

Грузный, с херувимски румяными щеками в бачках, поручик гулко на весь дом захохотал.

— О боже мой!— поморщился генерал.— Ну, что тут смешного?

И наклонившись к начштаба, сказал, понизив голос:

— Думается, не сбежал ли человек сюда от тыловых беспорядков? Вон жена мне сегодня пишет...

— К нам? — двинул большими ушами начштаба. — Да, голубчик мой, Петр Петрович, чем же тут лучше? За всю войну, даже во время самых страшных боев, я чувствовал себя спокойнее, чем сейчас. Враг кругом нас, разве вы этого не чувствуете? Мы не можем теперь верить никому, даже вот этим дуракам...

Начштаба кивнул в сторону несущих с кухни дымящиеся блюда Япошки и Наполеошки. И как бы любуясь, оглядел подавленно-мешковатого „куриного генерала".

IV

„Родина — это живые люди..."

Позвольте, позвольте! А страна отцов? А родные могилы? Вот какой Иван Непомнящий — этот Ильзде!..

...Как забыть эти железные строения, отягченные синими гроздями винограда, и этот сухой, выцветший воздух стеклянного склепа, и огонечек неугасимой лампады над мраморными плитами.

Какое это было важное дело — ежеутренне заправлять фитиль лампады! Это дело поручалось только ему, тогда еще румяному стрижке-кадетику, на горькую зависть младшим братьям.

Каждый раз после чаю, наскоро стерев мазки масла с пухлых щек, брал он в шкатулке матери большой ключ и важно шествовал по крутой тропинке, заросшей цепкими колючками трефоли, туда вниз, где на площадке мелко дрожат в сладостном ветре широколиственные латании, где меж пышущих жаром каменных выступов спрутами разлеглись мясистые агавы, — на жуткой высоте над морем.

Здесь, на каменном пороже часовни он по-военному склонял одно колено и крестился мелкими небрежными крестиками, скашивая глаза на тропинку, — там уже топал и торопливые ножонки младших.

С усилием открывал он железную дверь и, стуча каблуками, обходил мраморные плиты, чтобы снять щипчиками ломкий нагар фитиля и налить масла в розовую чашу лампады. Потом он целовал кровавую язву на ноге распятого и снова склонял колено у мраморных с золотыми

надписями плит. И тут он замечал на себе молчаливый и жадный взгляд...

Генерал поднял голову и беспокойно огляделся. Гремел по крыше ветер, дождь шершавой беглой рукой ощупывал стены, и старый парк гудел, как море. Вздрагивало пламя лампы на столе, чернота ночи просачивалась в узкую щель закрытых ставней, будто моргал там близкий черный глаз.

Кряхтя потянулся генерал через стол и плотно сдвинул створки ставней. Начатое письмо жене не шло дальше привычной первой фразы.

...Он видел придавленные к стеклу носы братьев и, давясь от подступающего смеха, падал лицом на нагретый лоснящийся мрамор плиты. Он приникал глазами к темному стеклу на плите и долго всматривался внутрь: там на малиновой подушке всего-навсего лежит маленький белый крестик, дедушка получил его в турецкую кампанию.

Как завидовали теперь ему малыши! Ведь они думали, что Петя видит за стеклом самого дедушку, такого же точно, как дома в золотой раме, с пышными бакенбардами и эполетами на плечах, или как на большой картине в кабинете:

И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

— Знаменитое имя дедушки должно быть известно вам, прапорщик Вильде, хотя бы из учебников русской истории. Его помнит родина. Да-с!..

Дедушка отвоевал у турок эти синие, заросшие колючками холмы, и дедушка же поклялся сделать эту землю жемчужиной короны.

Разве не цвели некогда эти берега? Разве не сюда, в устье древнейшей реки, какую помнит человечество, направили некогда свой корабль легендарные аргонавты? Разве не здесь была священная роща царя Аэта, где вечно бодрствующий дракон стерег золотое руно?..

Тысячелетия прошли с тех времен, воспетых в древней сказке. Море крушило берега, реки переменили русла, обваливались горы, исчезли города, полчища завоевателей прошли по этим склонам, как тени, даже имена их стерлись в памяти людской.

Дикий терн затянул холмы, долины заросли папоротниками. Гнили и опадали горные остроконечья, потерялись в застойных болотах реки, закишели в низинах гады, и вновь утвердила здесь свое владычество древняя лихорадка.

Победивший турок дедушка решил теперь завоевать одичалую природу. Это он стал знаменитым губернатором—восстановителем страны золотого руна. Десять лет он терпеливо выжигал колючки, спускал стоячую воду болот, прокладывал дороги, строил. Из рязанских и орловских деревенек выписывал он отставных капитанов, пенсионеров-служак, и сам отводил им земельные участки меж синих холмов. На склонах гор, в зеленой гуще скоро забелели стройные колонки усадеб. А тощее племя аборигенов отошло в глубь горных ущелий.

И вот пропылила однажды здесь просторная губернаторская коляска. В коляске, отвалившись назад, сидел благодушный, тучный полковник в белом кителе. После обильного обеда полковник был утомлен и сонно тыкал носом в букет тугих огромных роз. На одном из верхних поворотов шоссе полковник вытер блестевшую от пота широчайшую лысину, оглядел холмы и сияющее море и протянул веснущатую ручищу почтительно сидевшему рядом старику-губернатору. Жемчужина была всемилостивейше принята в царскую корону.

Маленький кадетик, обернувшийся с переднего сиденья коляски, был взволнованным свидетелем этой торжественной минуты. Он видел, как дедушка с несвойственной ему торопливостью нырнул головой, чтобы поцеловать царскую руку, потом полез за платком, вытер покрасневшие глаза, с достоинством высморкался и расправил бакенбарды...:

„Ну, что вы скажете теперь, безумный прапорщик Вильде, у которого нет родины? Вот они, верные сыны отечества, собиратели и устроители великой России, „от финских хладных скал до пламенной Колхиды“. Это у вас, людей, рожденных с ветра, вышедших из российской тьмы, нет дорогих могил, нет и родины. Так не вам и решать ее великие судьбы. Предоставьте это тем, кто имеет на это историческое право. Да-с!..“

Генерал, усиленно кряхтя, стал стягивать сапоги. Письмо жене так и не вышло: придется отложить на утро, завтра со свежей головой...

„Боже, как отсырела постель! Не миновать завтра насморка. Когда, наконец, остановится этот дождь? Воистину отверзлись хляби небесные, льет и льет, просвета не видно. Не приведи бог в такую ночь никому остаться одиноким или бездомным".

Генерал покрестился и потушил лампу.

За окном протяжно свистит ветер, голые сучья скребут стену тысячью когтей, с густым шорохом отряхивает сад накопленную капельную тягость.

„А как сейчас в окопах?" — набегает беспокойным толчком мысль.

...Зеленый острый конус мгновенно рассекает тьму и медленно оседает, как бы вдавливаемый в землю бездонной чернотой ночи. Из глухого абажура ракеты в косом ветреном дожде сеется вниз призрачный свет. И в сверкающей от потоков воды земле генерал явственно видит черную щель окопа. Туда гулко сбегают мутно-белые ручьи, и мокрые до нитки люди безнадежно смотрят из-под навеса на всплывшие доски переходов...

„Им ненавистна война..." — возникает из тьмы грубое бородатое лицо прапорщика Вильде.

Генерал ожесточенно начинает ворочаться в постели.

„Ну вот, теперь опять не скоро заснешь. Да что же это такое, господи боже мой! Когда все это кончится?.."

Генерал покрывается с головой и крепко смыкает веки.

— Ангеле божий, хранителю мой, святый покровителю души и тела моего, — беззвучно шепчет он, губами одними, длинную успокоительную молитву.

В детстве каждый день читала ему эту молитву на сон грядущий мать.

Милый голос, далекое счастливое время, дорогой дом, любимый сад!..

...О сад! О весенний цветущий рай!

Позади дома, по каменным террасам низвергались сладчайшие глицинии. Изнеможенная бледность лежит на лиловых гроздях, млеющих в зное. Кипарисы в аллее, в темных и строгих рясах, застыли, как монахи на молитве.

А площадку перед домом обступили могучие эвкалипты; их нагие стволы, подставленные солнцу, ослепляют. Снежным облаком села на пригорке японская бузина. Каштаны поставили красные свечи. И туи стоят повсюду ровными

столбиками, как часовые, на каждом повороте, — дедушка подстригал их сам.

А розовая аллея, боже мой!

А воздух! В нем сверкает горная прохлада, он чист и светел, как увеличительное стекло. Он течет сюда через сизую стенку мексиканских сосен, с близких нагорных краев — на площади парка. Кажется, когда смотришь долго, — идут по дорожкам высокие светлые столбы.

О сад! Там и в эту мрачную ночь нежен воздух, и звезды кротко сияют над морем, и даже — даже цветет еще дедом посаженная ароматическая фехоа, — заморское диво, цветет осенью, чтобы принести плоды весной. Боже, боже, как все это далеко теперь!..

А все трусиха жена. Поторопились вот уехать в Петроград, когда в начале войны прочертила однажды горизонт серая грозная тень неприятельского крейсера. Тут зачислили в свиту, пришлось бросить дом и сад на управляющего чеха. Как-то он там, почему от него нет писем?

„Ох, что-то сна нет опять! Да что же это такое? И почему так тихо сразу стало? Может быть, я уже спал?..“

Генерал долго вслушивается. Темен сад и глух, только всхлипывают капли за стеной. Близко за ставнями почудился тихий, заглушенный смех, прерывистое дыхание.

— Спит, спит, спит, — слышен осторожный шопот.

— Кто там? — кричит генерал, чувствуя, как вздымается тугая щетинка на затылке.

Шарахнулись, разбежались за стеной, явственно захлюпала под ногами вода.

С бьющимся сердцем генерал садится в постели и долго вслушивается: „Нет, они не ушли, они чего-то выжидают. Ага!..“

Торопливо придвигает генерал стул, нащупывая поверх одежды браунинг и электрический фонарик, ставит ноги в мягкие ночные коты и неслышно обходит стол. Спрятавшись в простенок, осторожно раздвигает ставни. Дрожат руки. Влепить им все пули прямо в тупые, идиотские хари.

Затаив дыхание, генерал долго ждет. По ногам несет холодом, кидает в дрожь, хорошо бы достать плед и подвинуть кресло.

„Тсс! Они идут“. Генерал ясно улавливает ухом крадущиеся шаги вдоль стены и даже торопливую одышку. Вот

они уже подобрались к самому окну, зашептались... звякнуло стекло...

Почувствовав опять вздыбившуюся на затылке щетинку, генерал отщелкнул предохранитель браунинга на „Feu“ и одновременно нажал кнопку фонарика.

Голубой пук света ударил за окно. Закачались на ветру близкие сучья, выступили из тьмы мокрые черные стволы. Переплет рамы косо лег на взъерошенный дождем песок аллеи.

Никого не было. Генерал тщательно водил голубоватым лучиком по земле — никаких следов.

Одни черные астры восстали на насыпи клумбы толпой ночных привидений.

Значит, почудилось, нервы пошаливают. Генерал сдвинул ставни и, досадливо покашливая, улегся снова.

И облегченно вздохнул, услышав далеко за стеной грохот отодвигаемого кресла и ровные, твердые шаги начштаба. В этот глухой час ночи полковник еще не спал: он долго и мерно ходил из угла в угол, потом снова загремел тяжелым креслом, придвигая его к столу.

V

За завтраком в штабе обсуждали церемониал встречи сенатора.

Генерал, морщась от головной боли, просил уволить его от всяких встреч. Решено было, что навстречу гостю выйдет начштаба с Маришей на придачу.

— Форма одежды обыкновенная,— вяло распустил губы генерал.

На станцию выслали рессорную генеральскую коляску. Хозяину „собрания“, румянорожему поручику Гедеснову, предложили сочинить обед поторжественнее.

— Поросенка ему с кашей,— причмокнул любивший покушать генерал.— Небось, изголодался там, в столице.

Разговор оборвался с появлением в столовой прапорщика Вильде. Он вошел свеже-умытый, с гладко расчесанной бородой и, бросив обычное „здравья желаю“, сел на свое место.

Офицеры занялись едой.

Вильде, невпопад тыча вилкой, пробегал глазами только

что полученную газету. Он весело поматывал головой и отфыркивался в сторону.

— Ну, что там вычитали? — не удержался генерал.

— Эт-то замечательно! — восхитился Вильде. — Вы только послушайте!

Он прочел вслух заметку. Автор ее, некий „Фронтовик", приехавший, по словам газеты, в отпуск с боевого участка, горько возмущался пораженческими настроениями, разъедающими тыл. В момент великой смуты и распада национального духа он звал всех честных людей русских „туда, на фронт, в неколебимые полки".

— Штиль-то, штиль-то каков! — ехидничал Вильде. — Прямо князь Дмитрий Иванович Пожарский!

— Всякий говорит так, как чувствует, — обидчиво дернулся генерал. — А между прочим, что тут смешного? С каких это пор быть патриотом стало зазорно?

Генерал вопрошающе оглядел молчаливо склоненные головы офицеров и заерзал беспокойно в кресле:

— О время, время! Действительно, где сильные люди? Где они, сыны отечества, Мнинины и Пожарские? Неужто оскудела людьми Русская земля?

Никто в „собрании" не отозвался на этот горестный возглас генерала. Офицеры, еле удерживаясь от смеха, приникли к тарелкам.

— Не оскудела, — отложил газету Вильде. — Нынешние Мнинины — как же, они есть. Я сам видел одного такого, когда в отпуске был. Прихожу, знаете, на митинг по случаю выпуска Займа свободы...

— Не обижайте вы генерала, — тихо тронул за рукав прапорщика Мариша.

— ... и выходит на трибуну известный в нашем городе зубной врач, лысый такой, в золотых очках. Прокричал что-то, потом трясущейся рукой полез в рот и вынул золотую челюсть... так сказать, на алтарь отечества. Конечно, всеобщий восторг, все трясут ему руку, — тут бы, пожалуй, ему и сказать: „Заложим жен, детей своих заложим", но вот челюсть и подвела. Прошепелявил он что-то на последних буквах алфавита: ча-ша-ща — и сник. Только слеза выкатилась из-под очков на жилетку.

— Вам смешно-с? — сурово уставился генерал.

— Нет, что вы! Довольно даже трогательно. Это вот им смешно.

Вильде показал на потупившихся, с деревянными лицами, офицеров. Налившийся до лысой макушки кровью поручик Гедеонов не выдержал и опрометью бросился из-за стола. Один за другим офицеры покидали „собрание". Далеко в коридоре кто-то безудержно разразился хохотом.

Генерал растерянно посмотрел на дрогнувшие плечи начштаба и сел.

Полковник отошел к окну, усиленно раздавливая пробежавшую в усах усмешку. Он долго высматривал сквозь чащу парка на дорогу. Утром морозец прихватил дорожную жижу, присыпало в морщинах белой крупкой, — видимо, дождям приходит конец.

— Не прокатиться ли до обеда по первопутку на позиции? — сказал, не оглядываясь, полковник.

— А ведь идея, Яков Сильвестрович, — обрадованно поднялся генерал. — И я с вами, пожалуй, поеду прозетриться.

— В неколебимые полки? — выглянул из-за газеты прапорщик Вильде.

Ему не ответили.

Скоро из ворот усадьбы выкатил серый штабной автомобиль.

— Э, дорога-то! Погибель! — оглянулся на повороте начштаба: колеса автомобиля обозначили по дороге две крутых дуги, в них выпукло и жирно залоснилась грязь.

— Чего-с? — не понял генерал.

— Не пройдут, говорю, обозы, — спрятал начштаба нос в поднятый воротник и отвалился в угол потряхивавшего автомобиля.

Вот она, дорога-то, гладкая и прочная будто, — как легко бежит по ней автомобильчик. А через какой-нибудь час предательская корка схваченной морозом грязи сдаст. И тут станут все обозы.

Автомобиль, действительно, вскоре стал обгонять одну за другой застрявшие на дороге телеги.

Было видно, как поминутно проваливались копыта загнанных, жарко раздувающих мокрые бока лошадей. В провалах туго выпячивалась рыжая грязь, окрашенная кровью с разбитых мослов. Отчаявшиеся возчики сыпали руганью в бога и в небесную канцелярию, не обращая внимания на медленно обходивший телеги по обочине генеральский автомобиль.

Вот так эти кованые обозные телеги с тяжелым, плохо пропеченным хлебом и останутся стоять в поле до ночи.

Начштаба накрыл поколодевшие колени полой шинели и сел поудобнее.

Он знал из донесений, что снабжение окопов ухудшилось, что вот уже выдают сухари из железного запаса — прямое преступление. А что будет дальше, когда сухари выйдут?..

— Вот тут знаменитый участок Печина, — махнул начштаба рукой вдоль березового подлеска: — первые отказались наступать. Полк давно следовало бы отвести в тыл и разоружить: заражен насквозь.

Солдаты, стоявшие с котелками подле сеявшей дымом походной кухни, с удивлением смотрели на подкативший серый автомобиль. Никто из них не отдал честь приехавшим, только переглянулись и выжидательно притихли.

А один подошел поближе, вынул изо рта короткую немецкую сигару (на этот обслюнявленный, вонюче чадивший огрызок остолбенело воззрился генерал) и сказал как будто весело:

— Господин генерал, хлеба не хватает. Мы тебе тут не будем сидеть за сухари, прямо говорю.

И пошел дальше, по-озорному оглядываясь на них, — на растерявшегося маленького толстячка и сухого, бесстрастного начштаба в долгополой шинели.

Хлеба не хватает... Ну, что здесь могут поделать они — двое офицеров, двое пленников из большого помещичьего дома?..

— Обратитесь в комитет! — резко крикнул вдогонку солдату начштаба.

— Да! Вот именно! — засмеялся обрадованно маленький генерал.

Но солдат уже ушел, гремя сапогами по подмерзшей земле.

Офицеры двинулись дальше. И вслед им посыпались от кухни угрюмые выкрики:

— Чего там — комитет! Мир надо заключать. Докуда тут гнить будем?

Генерал спустился за нуждой в ближайший из ходов сообщения. На обиндевевших досках внизу тонкой сеткой запутались только крысиные следки. Солдаты открыто ходили поверху.

Близкий шорох неожиданно заставил генерала остановиться: на уровне его лица по бревенчатой стенке пробиралась большая круглобокая крыса. Она подбирала иззябшие розовые, как у голубя, лапки и вытягивала длинную изогнутую морду, как бы собираясь спрыгнуть на плечо генерала. Тошнотворным ее запахом пахнуло на него.

— Кш!.. Кш!..—закрылся локтем генерал и в ужасе рванулся обратно, больно натыкаясь на бревенчатые выступы узкого земляного прохода.

— Ах ты, гадина такая!—отдувался генерал, выбравшись наверх.

В стороне заметил он начштаба, окруженного офицерами, и направился к ним.

— Господа офицеры,—негромко скомандовал начштаба встречу.

Офицеры, взяв под козырек, вытянулись. Генерал махнул рукой.

— Знаете... крыса... во-от такая!.: прямо на меня:.:

Высокий штабс-капитан криво усмехнулся:

— Так точно. Мы к ним привыкли, спим вместе.

— Что вы говорите!—удивился генерал, недоверчиво всматриваясь в его смуглое, как бы подмигивающее лицо.

Офицеры весело и бесцеремонно оглядывали маленького генерала, за спиной его побежали шопотки и смешки.

Начштаба свел брови и внушительно прокашлялся.

— Капитан Космачев, так вы заезжайте ко мне завтра за инструкциями,—сказал он высокому офицеру и пошел к машине.

— Слушаю.

Офицеры снова вытянулись и козырнули.

С автомобиля начштаба долго осматривал в бинокль позиции. Над немецкими окопами мирно дымили костры. Над русскими—тоже: был обеденный час, солдаты варили привычную чечевицу. И пахло в крепком воздухе мирным овинным духом.

На обратном пути офицеры хмуро молчали.

Да, фронта больше не было. Машина войны застопорила. Грозный дух смерти отлетел от этих полей, в диких лесах не кричат больше стальные горла орудий. Не летят в нашу сторону, будоража высоким лётом воздух, прямокрылые „таубе". Не развертываются в небесной голубизне кружевные платочки шрапнелей. Не бродят по ночам белые тени

прожекторов. Даже привычных винтовочных хлопков не слышно больше.

Над фронтом, над окопами нависла настороженная тишина.

Начштаба сидел прямо и поклевывал носом в такт с биением мотора. Только один раз заговорил он, кивнув головой в сторону от дороги:

— Видите, сколько сена гниет? Заготозляла, видите ли, украинская дивизия. А у нас конский состав с каждым днем падает. Я предложил реквизировать, так эти дурные парни — у них тут свои часовые — сейчас же жалобу в армию. Ну, и отменили.

— Полячишки вот тоже зашевелились, — встрепенулся нахохлившийся воробушком генерал. — Слышали, тут рядом Довбор польский корпус формирует? Что же это такое, а? Все бегают, все суетятся, все хлопочут, только до России никому никакого дела нет.

Голос генерала всхлипнул и осекся.

Начштаба хорошо знал это больное место слезливого генерала и осторожно промолчал. Думал о своем.

„Все к лучшему. И даже чем хуже, тем лучше. „Боже, спаси Россию!“ Теперь уж вряд ли кто-либо спасет. „Ни бог, ни царь и не герой“... — как поют у нас в комитете. — Начштаба повел глазом в сторону примолкшего генерала и в воротник себе зябко и неслышно усмехнулся: — Да, „и не герой!..“

„Интересно все-таки, с чем едет сенатор, — деловито перевел мысли начштаба. — Наверное, неспроста, с какими-нибудь важными известиями. Или опять „уговаривать“? Вот бы его на печинский участок, хо-хо!..“

Перед самым обедом, когда вдали показалась генеральская коляска, начштаба, застегнув наглухо шинель, высокий и прямой, как шкаф, вышел на крыльцо. Из-за спины его любопытно выглядывали девичьи глаза Мариши.

Оба они зашагали по пустынной липовой аллее к воротам имения и застыли в ожидании меж высоких каменных столбов с зелеными, жабоподобными львами наверху.

Коляска, однако, лихо прокатила мимо ворот; в ней Мариша успел разглядеть важно развалившегося санитара

Левку Берковича, комитетчика, ехавшего из командировки. Рядом с Левкой сидела тоненькая, укутанная до глаз женщина с баульчиком на коленях. Она любопытно склонила голову, бросив на Маришу темный пронзительный взгляд из-под напущенного на глаза платка.

Начштаба круто повернул в штаб. За ним, едва дыша от подступающего смеха, невпопад шагал Мариша.

Поднявшись на крыльцо, начштаба искоса глянул на прыгающие щеки Мариши и, выкатив глаза, зарычал:

— Вольноопределяющийся Маришв! Ничего смешного нет! Немедленно расследовать! И донести мне рапортом сегодня же!

— Слушаю! — моментально вытянулся свечкой Мариша — сразу щелк, дзинь! — с детства памятны эти грозно двинувшиеся уши и побелевший нос.

Начштаба с треском захлопнул дверь перед племянником.

Приунывший Мариша поник над телефонным ящиком:

— Слушьте, центральная, в чем дело?

Центральная штаба, фыркая в трубку, объясняла дело ошибкой: на передаточной записали вместо „санитара“ — „сенатор“.

— Это чорт знает что! — звонко прокричал Мариша в затихшем доме. — Выясните мне фамилию дежурного телефониста.

Трубка удивленно задышала и отмолчалась.

VI

В прежние времена в этом розовом, веселом домике с зелеными ставеньками жил управляющий имением, немец.

От сытого, добротного житья осталась в домике только обширная, закованная в переплет железных рам, изразцовая плита и над ней уходящий под потолок, высокий купол подвесного, на цепях, колпака. Да в простенке уцелела с тех времен порыжелая олеография с поселянкой, наливающей молоко веселым охотникам.

Но лучшее в немецком наследстве был ведерный медный чайник, чудесным образом устоявший на своем месте после многих хозяев, сменявшихся в домике. Зарос теперь этот чайник копотью с зелено-красными наплывами окиси на круглых боках, — днем и ночью стоял он в центре плиты, пуская в темную высь купола клубочки пара.

Солдаты усаживались вокруг просторной плиты, как за стол. Один жарил на сковородке густо чадившую картошку с салом, другой пробовал пальцем бурчавшую в консервной банке „собачью радость". Большинство же примащивалось к пузану-чайнику. Привыкли все к его глухому нутряному бормотанию, прихлебывая за разговором пахучий черный навар.

Здесь узнавались все новости, здесь неведомо возникали и тянулись бескрайные солдатские споры, решавшие судьбу фронта.

В просторной комитетской кухне с утра до ночи толкался разный военный народ.

Из полков наезжали вестовые с пакетами — значилось на них: „весьма секретно", приезжали какие-то делегаты и уполномоченные, завертывали просто на перепутье, как в заезжий трактир, — знали все, что на плите хлюпает радушно немецкий чайник, наливай — не спрашивай.

И на коновязи перед розовым домиком месиво грязи всегда было притрушено свежим сеном, круглый день переминались здесь под косым дождем лохматые лошаденки.

Штаб стоял на глазу у комитета. Маленький розовый домик как бы с усмешечкой уставился сквозь чащу сада в темные окна усадьбы. И большой помещичий дом замкнулся от этого и хмуро и будто бы завистливо выглядывал из-за деревьев парка на суетливое движение вокруг низенького крылечка.

Сбегали с сарайчика провода за зеленую ставеньку — из полков, из резерва, с базы, больше, чем в штаб. Розовый домик все гуще опутывался проводами. И весь день надрывалась центральная штаба на трудном новом слове:

— Это президи-у́м? Пре-зи-ди-у́м?

Этот „президиум" решал теперь все дела дивизии. В дальней комнатушке, где воздух прокис от застоявшегося табачного дыма и вонючей подушки шапирографа, непрерывно заседали.

У окна сидел, свесив над столом многодумную голову, председатель Семенов, здоровенный кругляш из артиллеристов. Он часто, по-деревенски взглядывал за окно, и в медленном повороте тугой шеи видна была упрямая, твердая сила. На скуластом его лице угрозно висела фельдфебельская рогатка усов. На крутом лбу торчали рогатые шишки.

— Пиши, — диктовал Семенов, выкинув из-под усов облако дыма, — пиши теперь про сено.

Гладенько причесанный писарек покорно приникал к бумаге.

— Пиши: „Лошади у нас падают, сердце болит, как ночью выйдешь на двор: по деревне грач идет — стелки грызут. Штаб украинской дивизии пристыл тут к стогам своих часовых и нам тронуть не дает, то мы постановили сымать украинских часовых насильно, и просим постановление утвердить"...

Новое облако вознеслось к потолку.

— Пиши: „А дорога совсем спортилась, обоз не идет, вся выпечка лежит на базе, в окопах выдают остатки сухарей, дальше не знаю, что будем делать".

Председатель умыло поник головой над столом, накрытым газетной бумагой.

Писарек перевел скучающие глаза за окно. Улица текла грязью, густой и глубокой, — после утренних заморозков ветер снова напал дождя.

В конце улицы, подоткнув высоко за пояс полы шинели, пробирался солдат. Обнимая нависшие над топью углы хатенок, он осторожно продвигался вперед. Новый кто-то, видать, — здешние ходят задами, полем.

— Да ведь это наш Левка! — встрепенулся писарек. — Видишь, фуражечка на самом затылке? Он это!

Семенов выглянул за окно.

— Он и есть. Ну, погоди, я его сейчас...

Председатель встал и, заложив руки за шею, с хрястом потянулся, огромная его грудь бочкой выставилась над тугим ремнем.

— Сколько? На две цельных недели опоздал, свистодыр!

Левка вошел самодовольный и чуточку недоумевающий.

— Ничего не скажешь, хорошая коляска у генерала! Какие рессоры, ммм! Чего это вы вздумали лукавить за мной, ребята? Это все ты, дружище Семенов?

Кто-то тут засмеялся сзади, сначала нерешительно, потом все громче и неудержимей. И уже приседая от хохота, тыкал пальцем в Левку:

— Бра-атцы! Это ведь он и есть... сенатор-то!

Сразу все поняли, и Левка недоуменно оглядывал хохочущих комитетчиков. С кухни сбежались солдаты, набились в дверях.

— Эк вас разбирает! — Левка сердито стал снимать ножом аккуратные ломтики глины с сапог. — Вот черти! Ну, чего ты ржешь, мой конь ретивый? — уставился сердито Левка на Семенова.

— Ох! Давно я так не смеялся! — отмахивался тот. — Штаб-то как подкузьмили! Вся дивизия со смеху теперь укатается.

Недоумевающему Левке наконец объяснили насчет странной телефонограммы про сенатора.

— То-то я смотрю, — расплылся до ушей Левка, — вышли к калитке начштаба с дежурным. Это они, значит, меня встречали? Я им, конечно, козырнул — вот этак. — Левка избоченился и величественно взял под козырек. — А они-то сразу ко мне — задом.

Весело покатывались, глядя на Левку, комитетчики. Кто-то уже кричал в телефон:

— У штабных-то, слышь, какой скандал: Левку, санитара нашего... встречать вышли заместо сенатора... генералову коляску выслали...

— Стой! — выхватил трубку Семенов. — Надо штабных поздравить.

И, соединившись со штабом, он сказал чужим голосом:

— С приездом вас... да, сенатора...

Навалившись грудью на стол и раздувая усы от беззвучного смеха, слушал отчетливо-вежливый голосок Мариши:

— Благодарю вас. Сами скушайте... Да, дулю.

— Дулю? — озадаченно переспросил Семенов, кладя трубку. — Так! Дулю, говорит, скушайте.

Он сел за стол и нахмурился. Писарек выжидающе посмотрел на него и отложил перо.

— Семенов оглядел всех исподлобья.

— Левка, может, ты хошь дулю?

— Какую дулю? — недоумевающе усмехнулся Левка.

— Да вот тут штабные нам посылают дулю.

И с силой выбросил на стол тяжелые руки. Заговорил недобро:

— А ну-ка, иди сюда, стань поближе! Ты что ж это, друг, не по форме явился? А?

— Как не по форме? — оглядел себя Левка.

Тут все заметили Левкину обновку — офицерские синие штаны пузырями, с красной выпушкой по шву.

— Не по форме явился! — продолжал укорять Семенов. —

Во-первых, опоздал на две недели, — где ты летал? Во-вторых, зачем мы тебя пускали, — забыл? Какая твоя о фронте забота была, сказывай! Давай, докладай сейчас нам рапорт! Послушаем...

Семенов сердито отвалился в угол.

Левка прошелся по комнате, форся штанами.

— Во-первых, что значит, Семенов, — опоздал?

— Как — что значит?

— Да так, я спрашиваю, что̀ значит?..

Новый какой-то стал Левка, светлые глаза его вдруг зажглись острым беспокойным огоньком. Он прошелся еще раз и остановился перед Семеновым.

— Не забудьте, дорогой товарищ: как солдат, я уже кончился.

— Кто же ты такой есть?

— Сенатор! — крикнул кто-то.

— По штанам глядя, не меньше, как капитан.

Левка сделал полный кругооборот на каблуках и высоко поднял руку:

— Я есть свободный гражданин. И приехал я сюда за тем, собственно, чтобы забрать свои вещи и сказать вам: адью, дорогие мои!

— Постой, — сказал Семенов, — ты не вихляй! Ты нам докладай сперва, какая твоя о фронте забота была?

— Дорогой товарищ! — вызывающе подбоченился Левка.— От имени революционных солдат красного тыла я должен вас спросить об этом. Как тут у вас в смысле низов, что сделано? Ну-ка?

— Ишь ты, какой приехал тыловой распорядитель! — ехидно засмеялся Семенов. — Да ты нам отвечаешь, аль мы тебе? Ну?

— Это еще неизвестно, товарищ!.. — Левка остановился напротив Семенова и сказал торжественным шопотом:—Мир надо заключать, вот что!

Сверкнул глазами:

— Уже!..

— Что? — сразу жадно сдвинулись вокруг стола комитетчики.

— Начинают!..

В комитете стало тихо.

Нерешительно заговорил Семенов:

— Это что же? Значит, безо всякого приказа?

— Эх, товарищи! — снисходительно оглядел комитетчиков Левка. — Генералы тут вам, видно, мозги позатерли.

— Ну, ты насчет генералов-то не больно...

— Это брось!

Все призадумались. Левка самодовольно вышагивал из угла в угол. Семенов шумно выбрасывал сквозь усы клубы дыма и как бы прощупывал глазами гладкую Левкину спину.

— Так говоришь — уж начинают? — спросил он еще раз.

Левка обиженно посмотрел в пышные председательские усы, — казалось, бродили в них, стеля дымом, глубокие пожары.

— Ну да же! Да, Семенов! — прижимал руку к сердцу Левка. — Что, я тебе стану врать, да? Об этом знает весь Минск. Ах, до чего интересно в Минске: шум, крик, не разбери-бери!

Глаза Левки заблестели.

— Живете тут, ничего не знаете.

Он довольно похлопал себя по животу, отошел в угол, рассупонил ремень и встряхнулся. Из штанов вывалился на пол большой бумажный тюк.

Левка положил тюк на стол и развернул слежавшуюся, с прожелтью пота на углах, бумагу.

— Нате, читайте, читайте! — совал он листовки в руки комитетчиков. — Есть в тылу люди, которые за вас думают. Бери, бери — на всех хватит!

И подмигнул Семенову:

— Ребята работают.

— „Со-лда-ты! Де-ло ми-ра... в ва... в ва-ших ру-ках“... — борзо пошел читать по складам один из солдат.

— Ну ты, заковылял! — сразу подсекли его. — Про себя знай!

Все углубились в чтение, передавая из рук в руки листовки. Зычные, круглые слова, которых всем недоставало, ясно отпечатанные, стояли перед глазами:

„Война — войне!“...

„Мир — на кончиках ваших штыков!“...

„Враг в тылу!“...

„Мир — хижинам, война — дворцам!“...

— Дело будет! — бережно спрятал листовки за пазуху один из солдат. И отошел в угол, поблескивая оттуда глазами с радужным, кошачьим отсветом.

Левка завертелся ликующим бесом:

— Говоришь, дело будет? А вот от таких не будет дела? Что?..

Он вытащил из пакета стопку красных листовок и громогласно прочел заглавие:

— „Солдат, шевели мозгами. Тезисы товарища Амброзиуса".

— А ну, дай сюда! — потянулись со всех сторон руки.

— Гениально! — кричал Левка, размахивая листовками над головой. — Дело будет, товарищ Амброзиус! Ты понимаешь, дружище Семенов, ежели двинуть эти тезисы на фронт в руки каждому солдату, — все полетит к чертям на воздух! Завтра же война будет кончена. Ах, гениально, черт тебя побери, то-ва-рищ Ам-бро-зи-ус!..

Левка ткнул всю красную пачку в руки Семенову, свалился со скамейки на кровать и от восторга задрыгал ногами.

— „Сбирайтесь, сбирайтесь под черное знамя, — запел он, — теснее смыкайте ряды..."

— „Солдат, шевели мозгами", — недоверчиво повторил про себя Семенов первые слова листовки, — звучали они как-то озорно, несерьезно. И стал читать вслух:

— „Первый пункт. У трудящихся нет родины — их родина весь мир. Второй пункт. Чтобы кончить войну, немедленно уходи с фронта, не спрашивая никого. Третий пункт. Оружие бери с собой — пригодится. Четвертый пункт. Не верь депутатам, комитетам, партиям — они обманут..."

— Стой! — сказал Семенов и крепко потер себе затылок: — Стой!

Левка настороженно следил за ним и тихо смеялся, прикрывая рот ладонью.

— „Пятый пункт, — прочел еще Семенов, — борись со всякой властью: всякая власть обозначает урезку твоих прав..."

— Это что же такое? — подошел он к Левке. — Депутатам не верь? Комитетам? Это нам-то? С властью борись? Вот ты какого духа там нанюхался! Ты что же, работу нам приехал подрывать? Ну, мы, брат, на этот счет еще пошевелим мозгами.

Семенов вытащил из-под кровати свой кованый сундучок, спрятал в него красную пачку и трижды щелкнул замком „с музыкой".

— Семенов, ты в уме? — спустил ноги Левка. — Семенов, где же свобода?

— Ты не шути! — раздельно сказал Семенов. — Тут тебе не в тылу, тут люди под штыками ходят, все злые. Не шути!

— Ты что — власть? — злобно изогнулся Левка.

— Да, я власть, — серея лицом, сказал Семенов, — и тут ты со мной не сыграешь. Вот будешь ходить округ сундука, как кот округ масла, а получишь что? Дулю!..

Семенов пососал большой палец и уставил в нос Левке тяжеловесную фигу.

В комнате нависла длительная тишина.

Семенов сел за стол, со свистом подул в усы и медленно начал:

— Пиши: „Всем полковым и ротным комитетам...“

Писарек припал к бумаге.

VII

Из армии прислали на подмогу комитету Степу Колобашкина. Говорили про него — ярый большевик.

Такой был замухрышка с виду этот Степа, все жался к горячему боку печи, — оттого ходил всегда с забеленными локтями, зябнущий и неприбранный, с болезненным жаром в лице.

На плотно придвинутой к печи кровати он лежал целыми днями, зажав меж колен ладони, маленький, скрюченный болью.

Где-то в предгорьях Карпат чмокнула Степу австрийская пуля, след от этой пули пунцовым завитком горел до сих пор на его щеке. Пулю вынули тогда же в лазарете, вынули вместе с ней и целый ряд зубов, только не сумели утишить глухую боль в оголенных деснах.

С тех пор затих веселый Степа Колобашкин, отчаянный разведчик, первый разговорщик и песельник в полку. По-стариковски сморщились и запали его щеки, погрустнели глаза, развилась и спряталась под шапку лихая кудря.

Стал он жаться к теплу, сам выпросился у командира в пекарню: был он когда-то булочником; так и дожил запечным тараканом до самой революции.

Только тут открылись глаза у Степы на всю его жизнь, он сорвал с плеч лычку ефрейтора и навсегда помирился с хлебопеком Ибатуллиным, — до этого были они на ножах.

Почему так вышло, Степа никогда никому не рассказывал.

Ибатуллин был татарин, а Степа терпеть не мог татар-

скую нацию презрительно обзывал ее „махмудами“ и все казал горячему Ибатуллину свиное ухо, свернутое из шинельной полы.

А пошло это вот откуда. Дело было в самый разгар войны. Выбитый на треть при наступлении Степин полк отвели в резерв. Поставлен был полк на отдых в палатки в золотых соснах над тихой рекой Нарочью.

И пригнали на пополнение полка триста деревенских „гавриков“, совсем сырых еще новобранцев. Это были татары откуда-то из дальнего Заволжья. Они пугливо прислушивались к еле слышному здесь громыханию орудий и тихо переговаривались по-своему. По-русски они понимали плохо и взводного Степу почему-то называли „бачка“.

Бачка, так бачка. Степа терпеливо обучал этих скуластых беспонятных парней несложному делу рассыпания в цепь, перебежкам и приемам штыковой атаки.

Ученье подвигалось туго. Казалось иногда Степе, что сговорились против него злые „гаврики“, хитрят по-своему, по-темному, чтобы только от фронта оттягаться.

А полуротный орет на все учебное поле:

— Колобашкин, где у тебя применение к местности? Как они у тебя лежат? Что за дурацкий взвод!

Степа начинал сердиться. Подобравшись сзади, он подгонял крепкими пинками уткнувшихся в траву „махмудов“.

„Махмудами“ Степа называл их по имени правофлангового дылды Махмуда, погибшего по глупости в первые дни ученья. Только успел показать Степа своим „гаврикам“, как мечут гранаты, в тот же вечер ушли они глушить рыбу в омутах Нарочи. Ударив запальник, подносил Махмуд гранату к уху, слушал, пока зашумит, и скалил при этом белые татарские зубы. И вот, опоздав на какую-то долю секунды, съехал он безголовым мешком под берег на глазах у всех.

— Махмуд!.. Махмуд!..—прибежали к Степе испуганные „гаврики“.

Крепко нагорело Степе тогда от ротного, и стал он с тех пор звать свой взвод „махмудами“.

— Куда мне с вами такими, шурум-бурум, на фронт итти?—с отчаянием говорил Степа.—Своих постреляете, махмуды...

— Махмуд... Махмуд...—жалостно причмокивали татары, покачивая головами.

— Да вот то-то и есть!

А на фронт пришлось итти вскорости.

Памятно Степе это крепкое осеннее утро на картофельном поле, когда мертвые петли ботвы еще синели от инея и с хрустом ломались под локтями и коленями залегшей цепи. За деревней невидимо готовилось взойти солнце. Пели петухи.

Из тополевых садочков гремели австрийские пулеметы, по околице вразброд хлопали винтовки окопавшегося противника. То-и-дело попискивали над головой пули.

— Справа по одному!... — прошло по цепи от невидимого полуротного.

Из ботвы вскакивали солдаты, низко пригибаясь, делали очередную перебежку и валились ничком наземь.

Только в татарском взводе Колобашкина вышла заминка. Лежавший сбоку Степы густо рытый оспой солдат Сафетдинов беспомощно оглянулся на Степу и снова сунулся головой в ботву. Степа подобрался к нему и ткнул в бок наганом.

Татарин поднял голову. Измазанное землей лицо его плаксиво исказилось, зубы дробно стучали.

— Айда! — поднял Степа наган. — Айда!

Сафетдинов глубже ушел плечом в вырытую яму и весь съежился.

— Айда, тебе говорят! — яростно ударил его рукоятью нагана Степа.

И отпрянул, увидев в упор уставленные раскосые одичавшие глаза и ощерившиеся зубы, — Сафетдинов взмахнул прикладом.

— Ах ты, арестант! — Степа зажмурился и нажал курок.

Лицо его опахнуло жаром пламени. Сафетдинов сразу вытянулся и обмяк. А Степа потянулся к следующему, путаясь в скрипуче мерзлой ботве.

Тот вскочил, не дожидаясь, и с криком ринулся вперед. И за ним, ошалело лопоча по-своему, бросились вперед в кучу все, густо валясь под пулями.

— Спужались, — смущенно привстал из ботвы Степа. — Вот махмуды дикие!

И тут же оглушающе хлопнула его самого пуля.

Много раз после думал Степа, не татарская ли то была пуля, — пущена она была, по его расчетам, не иначе, как с левого фланга цепи.

Вот откуда пошла злоба Степы к татарской нации, отсюда шла и всегдашняя его драка с хлебопеком Ибатуллиным.

Только после революции узнал Степа, что не татары виноваты в вечно сверлящей его голозу боли, что все то было обманом. Рассердился тут Степа, вышел раз с речью на митинге. И вскоре выбрали пекаря Степу своим депутатом, дошел он так до самой армии.

Председатель Семенов называл маленького, обозленного нудной болью депутата уважительно: „рабочий класс". И все другие комитетчики любили Степу, заговаривали с ним ласково и заискивающе будто, когда он, хмурый и заспанный, проходил через комитетскую кухню. Спрашивали:

— Ну как, Степа, болят, брат, зубы-то?

— Болят, — не оборачизался Степа.

— Ай-яй-я! — жалеючи, приговаривали ему вслед.

А Степа валился на свою койку и отворачивался к стенке, лежал так, прижимаясь щекой к горячим кирпичам печи, — один со своей болью. О нем даже как будто забывали все в комитете.

Но когда за спинами сидящих поднималось измятое, с красными от боли глазами, лицо Степы, тогда затихали сразу все споры. Знали комитетчики, что Степа зря рот разевать не станет.

Его сиплыми, раздраженными речами заслушивались все.

— Как Степа скажет, так и будет, — наперед говаривал председатель Семенов.

А потом погасал сразу Степа и свализался за спины сидящих. Казалось, засыпал.

И на время притихали голоса в комитете — знали все про мучительные ночи Степы.

Когда спали кругом комитетчики и сотрясался розовый домик от тяжкого храпа Семенова, Степа долгими часами раскачивался от боли, сидя на кровати, и вслушивался в пение тягучих ночных ветров.

Мерещилась Степе в их голосах унывная солдатская песня, запевал ее, бывало, в боевых трудных переходах:

Горные вершины,
Я вас вижу вновь,
Карпатские долины,
Кладбище удальцов,

„Я вас вижу вновь...“ И возникали из тьмы знакомые, далекие лица...

В глубине ночи, пролетая над фронтом, прядали ветры с черной высоты к великим безмолвным могилам и плакали материнскими голосами, — этот безутешный плач тихо слушал один Степа, приложив зудящую от боли щеку к жарким кирпичам.

Щедро осыпали ветры дождем розовый домик и, теснясь в глубоких гнездовинах печной трубы, затаивали здесь над глухими вьюшками свои стенания и жалобы.

И казалось Степе: тò в его груди легла чугунная тягость, тò в его груди прячут ветры бездомные, окаянные свои песни, ища и не находя выхода.

Ночью, в неведомый час проснулся однажды Левка и сквозь всхлипы и шелесты дождя за окном услышал отчаянный стон человека. Он наугад бросился к Степиной кровати. Сидел Степа, охватив голову руками, и раскачивался в темноте, мокрое от слез его лицо толкнулось в грудь Левки.

И зашептал торопливо Левка, охватив узенькие плечи:

— Ничего, Степа, ничего!

И чувствуя нелепость истертых этих слов, сразу замолчал Левка.

Поскрипывала кровать под раскачивающимися их телами, шумно дышал в углу Семенов, за стеной немолчно плескалась вода.

Широко раскрытыми глазами угадывал Левка в черноте ночи невидимый квадрат окна и нудил к выдумке сонный мозг.

„Америка!“ — всплыло неведомо откуда счастливое слово.

И шептал радостно Левка, крепче стиснув худенькие плечи:

— Америка, брат, нам сочувствует, Степа, вот что. Я об этом в Минске читал в газетах. Америка за нас, Степа, слышишь? Из Америки к нам уже идут пароходы, огромные транспорты, Красный крест. И в первую очередь, понимаешь, — в самую первую очередь будет оказана помощь инвалидам войны. Тебе, Степа, дадут протез. Американцы, они, брат, у-у!..

Левка хихикнул и похлопал по спине притихшего Степу.

— Эдисон! — шопот Левки осекся от восторга. — Понимаешь? Ого! Голова! Это, брат, тебе не наши живодеры. Там они уже кости пересаживают, отпилят с ноги живую

кость и пересаживают, куда хочешь. — Левка перевел дух. — Про мясо не говорю. Одному солдату раз пулей нос оторвало. Так ты что думаешь? Хе! Взяли большой палец с ноги и пересадили. Ну да, сам читал! А вот если у тебя разбита челюсть, можно исправить пересадкой кости. А еще лучше — протез, из пальмы делают, крепче даже всякой кости! И фарфоровые зубы, ну — прямо настоящие!..

Степа уперся неожиданно отвердевшими руками в грудь Левки и резко рванулся. В испуге откинулся прочь Левка.

— Все ты врешь, врешь, врешь! — задохся от злобы Степа.

Он отхаркнулся и перешел с шопота на голос, презрительно засипел:

— Какая там твоя Америка! Разве там не буржуи сидят? Станут они тебе сочувствовать, как же! И ничего ты не читал, все врешь!..

— Степа, странный ты человек... ведь Красный крест...

— Да не-ет! На б-бога ты меня не возьмешь. На б-бога теперь меня не взять, — со злостью повторял Степа, как бы смакуя это слово. — Ученый я теперь, однова нажогся, хватит. Америку ты мне не хвали. — И со стоном схватившись за голову, закачался опять Степа. Выдавил ненавистно: — Уй-ди!

— Как хочешь, Степа.

— Уй-ди ты, говорю!

Левка вздохнул и пошел на свою кровать.

С рассветом рано просыпался Семенов. Он долго и порядливо убирал койку; осталось это еще с довоенных пор, от учебной команды. Крепкой ладонью проводил он по одеялу, выглаживая складки, взбил и тщательно расправил уши большой, в розовой наволоке подушки.

С укоризной осмотрел измятую кровать Левки, уже сидевшего за чайником. Заворчал:

— Как встал, так и за стол. Дисциплинки не вижу. Раньше бы тебе за это парочку хороших нарядов.

— Пст!.. Пст!.. — Левка с ужимками показывал на спящего Степу. И добавил сердитым шопотом: — Ночь не спавши, да еще кровать убирать, чтоб я сдох!

— Что, опять? — Семенов подошел на цыпочках к Левке.

Левка охватил свою голову руками и закачался:

— Мм... Вот-так! Всю ночь, Семенов! И я тут мучился с ним, как проклятый.

Оба они долго смотрели на Степу, маленького, скрюченного, вздрагивавшего в коротком сне худыми коленками.

На кухне прорвался хохот. Став на цыпочки и загребая руками, Семенов вперевалку двинулся туда. Цыкнул на усевшихся вокруг плиты солдат:

— Тише вы! Степа спит!

В розовом домике сразу стало тихо.

VIII

До обеда штабные обычно пропадали в парке. Бесцельно сновали они из аллеи в аллею, стараясь держаться дальше друг от друга: осточертели „эти“ разговоры.

В особенности боялись все встреч с „куриным генералом“. Завидев впереди его желтый кителек, офицеры сворачивали в сторону или отставались за деревьями.

При нечаянных встречах выработалось у штабных шутливое обыкновение „цукать“ младшего чином, как на солдатских занятиях „словесностью“.

— Господин поручик!

— Я, господин капитан.

— Ответьте мне: что есть сознательная революционная дисциплина?

— Мм... не могу знать.

— А, не знаете. Так я и думал. Надо подтянуться. К следующему разу приготовиться! Идите.

Сохраняя на лицах серьезность, встретившиеся церемонно брали под козырек и расходились.

При следующей встрече:

— Итак, что вы можете сказать насчет отмены смертной казни?

— Смертная казнь отменена, но есть наказание худшее смерти: это — позор.

— Это какой же вам идиёт...

— Но это точные слова господина верховного главнокомандующего.

— Благодарю вас, поручик. Вы мне больше не нужны.

Весело ухмыляясь, поручик и капитан расходились до новой встречи. Так продолжалось это бездельное кружение в аллеях „до сковороды“.

Тогда стягивались все поодиночке с разных сторон к старому дому, чтобы после обеда снова скрыться в парке. В эти кованые деньки истекающей осени никому не сиделось в затихшем доме.

Терялись опять где-то в дальних, заглохших углах за костелом, — парк всегда казался безлюдным.

Вот почему в это утро прапорщик Вильде, выйдя на террасу, был немало удивлен, завидев в главной аллее возбужденную толпу офицеров.

Впереди враскачку шел штабс-капитан Космачев. Он похлестывал себя по сапогам плеткой и о чем-то громко рассказывал.

Вильде подождал, пока офицеры подошли ближе, и весело взмахнул сапожной щеткой:

— Здравья желаю, господа перипатетики! Что за философические прогулки этакую рань?

— Радостные для вас известия, — выкрикнул Космачев, — на фронте начинается брагание!

— Это все, что вы имели сказать?

— А вам мало?..

Офицеры любопытно уставились на Вильде. Космачев нервно поигрывал плеткой.

— Что ж, этого следовало ожидать, — вразумительно сказал Вильде. — И объясняется это очень просто.

— Чем же? — усиленно замигал Космачев.

— Самовольством. Иначе говоря — революцией.

— А-а! — протянул Космачев. — А я думал — немецкими деньгами.

И пошел прочь по аллее.

— Нет-с, — твердо сказал Вильде, — революцией, которая, видите ли, продолжается.

Он взял щетки и широко развел руки, как бы продолжая гимнастику. И оглядев пустынные вершины парка, запел шубертовскую песнь:

Rauschender Strom,
Brausender Wald,
Starrender Fels,
Mein Aufenthalt [1]

Космачев рванулся назад.

— Отставить песню! — потрясал он плеткой, стоя перед

---

[1] Бурный поток, чаща лесов, голые скалы — мой приют.

террасой. — Вы ошибаетесь, война еще не кончена, господин прапорщик Вильде!

— Виноват, — дурашливо вытянул тот руки по швам, — разрешите тогда что-нибудь патриотическое. — И затянул тут же:

Гутен, гутен морген,
Гутен, гутен таг!
Немцу дуем в морду,
Австрияку в зад.

Офицеры не выдержали и расхохотались.

— Фигляр! — круто повернул обратно Космачев.

И все оглядывался с угрозой. Вильде же усердно зашмыгал щеткой по сапогам, насвистывая про себя.

— Честное слово, — угрюмился Космачев, — ноги моей больше в штабе не будет, пока этот немецкий профессор у вас там сидит.

— Это уж ты слишком, — утихомиривали капитана штабные. — Кто ж к нему всерьез относится? А не будь его — тут от скуки можно сдохнуть. Ты бы посмотрел, как они с генералом о политике разговаривают, — умора!..

К завтраку Космачев так и не явился. Он сел на скамеечке в парке перед самыми окнами собрания и упорно сек плеткой опавшие кленовые листья на земле.

— Сколь ему эта плетка к лицу! — насмешливо посмотрел за окно Вильде. — Хорош был бы на своем уезде.

— На каком уезде? — не понял Мариша.

— Ну, как вы думаете: откуда храбрость берется у этого идеального, как тут считают, офицера? Он несколько раз ранен, сам, говорят, в цепи идет, из солдатского кисета угощается. Словом, и рубака, и рубаха. А кто он таков, ежели соскоблить с него офицерский мундир, — вы знаете?

— Нет.

— Так я вам скажу: коллежский регистратор Акакий Акакиевич, только возмечтавший и взбесившийся. Ведь ему бы всю жизнь в присутствие ходить, а тут на тебе — война! Пути к счастью и славе сразу укоротились: на фронте с выслугой скоро. Он уж представлен был в капитаны. Смотришь, кончилась война — то ли столоначальником, то ли воинским начальником, то ли — фу ты, канальство! — исправником тебя посадят в хлебный какой уезд.

Вот только революция пришла некстати. Очень ему она не нравится.

— Но ведь он же рисковал головой? — возразил Мариша.

— Ну, пустую голову и потерять не жалко.

— Пф... пф... пфрр... — зафыркал в тарелку низенький, ушастый, похожий на нетопыря, штабной казначей, прислушивавшийся к тихому разговору Вильде с Маришей.

На них неодобрительно все оглядывались.

Завтрак прошел в молчании: новости, привезенные Космачевым, тягостно подействовали на штабных.

Оживление внес поручик Гедеонов, объявивший к концу завтрака:

— К толстой Фриде вчера приехала на побывку Цылечка. Сейчас пожалует к нам в парк, прошу приготовиться. В Минске у Всемирного Цыгана я с ней познакомился. Прелестная, надо сказать, девчонка.

Мариша сразу вспомнил вчерашнюю встречу у ворот и большие черные глаза, любопытно выглянувшие на него из бурнусика с высоты рессорной генеральской коляски.

— Значит, и Всемирного Цыгана вскорости надо к нам ожидать, — сказал казначей.

— Прикатит, будьте уверены. Эх, и завьем веселье веревочкой! А то совсем тут заплесневели.

— Ну, какое теперь веселье! Не до жиру — быть бы живу! — вздохнул казначей.

— А люблю этого человека: легко живет! — с завистью в глазах сказал Гедеонов. — Все девчонки так и валятся ему на руки, берет их без счета и разбора. По-карамазовски, — все линию какую-то в них ищет. Вот и Цылечка, говорят, уже не устояла перед ним. Долго будто бы за ней охотился, а свое взял.

— Оторвал кусочек, — сладко сощурился казначей.

Мариша неприятно поежился от этих разговоров.

Офицеры после завтрака повалили в парк. Рассказ Гедеонова разжег у всех любопытство. И хотя при появлении Цылечки все сразу почтительно вскочили, звякнув враз шпорами, в глазах каждого Мариша видел это настороженное: „А мы знаем!“

Цылечка вышла из-за угла террасы и остановилась, не замечая вытянувшихся офицеров. Стояла так, спрятав руки в кармашках короткой жакетки, стройная и узкая, как с модной картинки.

Смуглое, красивое ее личико, синевато подрумяненное утренним холодком, казалось огорченным. С недоумением огляделась она кругом, взмахивая густейшими, как крылья темных бабочек, ресницами.

Гедеонов подлетел к ней, распушив синие галифе.

— Ждем вас тут, Цецилия Яковлевна, всем синклитом. Разрешите рапортовать: во вверенной вам части происшествий никаких не случилось.

Он представил всех по чинам и последним подтолкнул вперед Маришу.

— А это просто Мариша, наш всеобщий племянник и любимец.

Мариша, не выдержав ее пристального взгляда, опустил глаза и несмело пожал узкую, стянутую замшей руку.

— А кто же я? — Цылечка по-детски как-то провела по себе руками. — Я просто трусиха, беженка, ужасно боюсь, когда стреляют, из-за этого удрала в Минск, а теперь вот опять приехала домой к папе-маме.

— Чудно! — умилился Гедеонов, нежно припадая к ее ручке.

Цылечка внимательно обводила глазами поредевшие аллеи.

— Если бы вы знали, как я рада! Точно я не была тут сто лет. Как пусто стало! Зачем-то сломали забор.

— На дрова снесли, — почтительным басом сказал Гедеонов.

— Ну вот, на дрова!

Цылечка вздохнула.

— Все ваша война. И дуб, наш дуб! Он стоял вот здесь. Ста-арый, прето-олстый! Я его так любила. Под ним был стол и скамеечка. Ничего нет! — растерянно опустила руки Цылечка.

Все двинулись по главной аллее, — впереди тоненькая, быстроногая девушка, за ней как бы виноватой толпой офицеры.

— У меня была подруга Алисочка, дочь управляющего Густава Ивановича, она сейчас там (Цылечка махнула рукой в сторону фронта). Такая она была лилово-розовенькая вся, с белыми волосами, как кукла. Нас с ней пускали в парк играть. Боже, как мы всё любили тут! Вот это дерево! И вот это дерево! Подсадите же меня кто-ни-

будь! Вот туг дупло, видите? Там было гнездышко с голубыми яичками. Потом мы вынимали птенчиков.

Цылечка, неловко поставив одну ногу в ращелине дуба, тянулась вверх молодым и гибким, как у ящерицы, телом. Офицеры неотрывно, жадно следили за тонкой, напряженно вытянутой в воздухе ее ногой.

Мариша вспомнил про „карамазовскую линию“, ему стало не по себе в этой толпе, отошел в сторону и отвернулся.

— Ну, снимите меня.

И опять она бежала по аллее, быстрая и легкая, опережая всех.

Она обнимала толстые стволы и запрокидывала маленькую головку, ища в ветвях что-то, известное только ей. И вдруг свернув в сторону, опустилась на землю меж толстых, узловато переплетенных корней.

— Чижик, наш Чижик!

Цылечка прилегла щекой к белому кирпичу и затихла.

— Не смотрите на меня,—села она, отвернувшись,— вы не знаете, отчего я плачу. Я нервная.—И, всхлипнув, пропищала смешным детским голоском:—„Чижик, Чижик, где ти биль, отчего ти помираль?“ Это Алисочка сложила такой стишок. Мы тут похоронили нашего Чижика. Это была наша собачка, щеночек беленький, понимаете?

Цылечка встала и отряхнула юбку. Усмехнулась, вскидывая мокрые ресницы:

— Думаете, Алисочка—наш враг? Нет, я ее попрежнему люблю. У нас с ней одна родина—вот тут!—Она обвела рукой вокруг себя.

— Ну, кончено! Отставить!—вскинула голову Цылечка.— Рассказывайте мне что-нибудь. Правда, что война кончилась?

Гедеонов двинул бровями:

— Не могу знать. Нам политикой запрещено заниматься. Как там, в тылу, думают?

— Там все за мир. В Минске все говорят, что война кончилась. Вот я и поехала домой.

— А вы тоже за мир?

— Конечно. Мне надоела ваша война.

— Ну,—благодушно развел руками Гедеонов,—раз и вам надоела, так что тут разговаривать...

Гедеонов бережно поднес к губам ее руку, зарылся

носом в рукав и несколько раз чмокнул выше стянутого перчаткой запястья.

— Да, война не вышла, — добавил он всерьез, — только об этом лучше не говорить. Это место у нас болит.

— Давайте о другом, — согласилась Цылечка. — Ну, шире шаг! Ножку дайте, ать-два-три!.. Сегодня чудный день. Небо какое синющее! Листьями, грибами, осенью пахнет. Даже влюбиться хочется.

— Ого! — крякнули офицеры.

Наклонившись вперед, Цылечка быстро бежала из аллеи в аллею. Офицеры, шагая невпопад, едва поспевали за ней. Они то забегали вперед, заглядывая ей в лицо, то отставали и шушукались о чем-то сзади. Сдержанно погогатывал Космачев.

Цылечка вдруг остановилась и, как бы сробев, начала пятиться спиной к дубу.

— Что это как вы все за мной бегаете? Странно!..

Они были в отдаленной, заглохшей части парка. От усадьбы их отделял темной стеной молодой густой ельник.

— Повернемте обратно, — боязливо огляделась Цылечка. — Да что вы так на меня все уставились?

— Женщин давно не видали, — оскалился Космачев.

— Хорошеньких в особенности, — хихикнул, прячась за спины, казначей.

Цылечка повернула обратно и убыстрила шаг. Она шла напрямик, мелькая меж деревьями легкой, стремительной тенью, и остановилась только на главной аллее. С задором помахала офицерам ручкой:

— Эх, вы! Ходить разучились!

— Длинноногая вы, однако, — отдувался подоспевший Гедеонов. — Смотрите, вся стая еле дышит. Ох грехи, грехи!

Он вгляделся: далеко в конце аллеи мерно шагал начштаба.

— Никак полковник? Что это он в неурочный час гулять вышел сегодня?

— На гостью захотелось посмотреть, — пошутил кто-то.

— Ой! Мне страшно! — попятилась Цылечка за широкую спину Гедеонова.

Начштаба медленно приближался. Мариша издали заметил хмуро сведенные его брови.

Полковник молча притронулся к козырьку в ответ на

обычное приглашение старшего: „Господа офицеры“ — и спросил:

— Кто из полков?

Несколько офицеров козырнули.

Тут, заметив Цылечку, начштаба двинулся дальше.

— Господа офицеры, попрошу на несколько минут.

И оглянулся через плечо:

— Мариша, а ты займись тут с барышней.

— Эх, счастье тебе привалило! — завистливо успел шепнуть Марише Гедеонов.

Офицеры подтянулись и, щеголевато отбивая шаг, двинулись за полковником. Кто-то, обернувшись украдкой, послал воздушный поцелуй.

Цылечка весело оглядела смущенного Маришу:

— Слышали приказ: занимайте же меня. Пойдемте, сядем куда-нибудь, я устала от беготни. Дайте и мне папироску, тут никто не увидит.

Они дошли до ближайшей скамьи. Цылечка по-мальчишески закинула нога на ногу, сделала губы трубочкой и пустила по ветру серию мелких колечек.

— Видали? Ну-ка, сумейте так... Э, не получается! А еще мужчина, военный!..

Она посмотрела на его плечи:

— Ага, вы доброволец. Значит, вы за войну? Да?

Марише явственно послышалось осуждение в ее голосе.

— Да... то есть не совсем так, — сбился Мариша. — Я поехал сюда добровольцем. Но я не сделал ни одного выстрела. И на-днях я уезжаю обратно, в тыл.

— Почему же вы поехали добровольцем?

Она допытывалась правды настойчиво и прямолинейно, не сводя внимательных глаз с Мариши.

— Хорошо, — сказал Мариша, — я вам сейчас во всем признаюсь. Я сделал ужасную глупость... или ошибку, может быть. Я верил одному человеку больше, чем следовало, — это я понял только здесь, на фронте. Знаете, было так... — Мариша прикрыл глаза и вытянул руку вперед: — „Идите, забыв себя“, — я до сих пор слышу этот страшный голос. Дело было на большом митинге, были истерики, кого-то выносили на руках. И я тут же, не рассуждая, записался добровольцем. Вот и все.

— Значит, вас обманули? — сказала Цылечка понимающе и серьезно и легко коснулась его руки.

— Выходит так, — согласился Мариша.

Они помолчали.

— Да, слова — опасная вещь. Их надо проверять, я это понял.

Мариша оживился.

— Вы не знаете нашего переводчика, прапорщика Вильде? О, интересный человек! У него своя теория разоблачения слов. Слова, говорит он, — только случайная и неверная форма понятий. Будучи нечестно употребляемы, они все дальше отходят от своего первичного смысла, затемняются, как бы зарастают коркой грязи. Получаются „слова в футлярах“, по его выражению. Взять такое привычное уху слово: „война“. „Война — это ангел, прекрасный и гневный, губящий неправду, карающий грех“, — поет тут на вечерах наш штаб-бас, как его называют, поручик Гедеонов. Вильде предлагает заменить это стертое слово более точным: „человекобойня“. Послушайте, что́ получается: „человекобойня — это ангел, прекрасный и гневный...“ Слово разоблачено. Соответственно Вильде предлагает заменить слово „пушка“ — „машина для убийства на дальнем расстоянии и для разрушения человеческих жилищ“. Слово „офицер“ — „профессиональный убийца“, „генерал“ — „высококвалифицированный организатор человекобойни“, и так далее. Если вот такими „очищенными“ словами говорить о войне, сразу станет ясной ее ужасная бессмысленность, а творцы и вдохновители ее предстанут не больше, как опасными преступниками. Вильде посмеивается, что эта его теория равноценна открытию способа деления атома в химии. Полный переворот, понимаете?

Цылечка кивнула головой.

— Это очень интересно. Какой он умный! Я над этим никогда не думала.

— Вильде мне все твердит, — продолжал с увлечением Мариша, — что только молодежь, вступающая в жизнь сейчас, может его правильно понимать. „Вы, — говорит он, — со свежим слухом, вы должны пробовать теперь каждое слово на молодой зубок, что оно подлинно значит“. Вот он все меня и обрабатывает. А я теперь — вас. А вы — еще кого-нибудь. Правда? Так и пойдет по всему свету...

Они внимательно посмотрели друг на друга и дружелюбно засмеялись.

— Пойдемте, проводите меня, — поднялась Цылечка, — и приходите ко мне, хорошо? Вы когда уезжаете?

— Не знаю еще, — запнулся Мариша, — дядя все задерживает отъезд. С другой стороны, как-то неловко уезжать сейчас. Как вы думаете, это не будет дезертирством? Перед вами, перед самим собой? Только скажите празду!..

— Я подумаю, потом вам скажу. Идет?

Цылечка приятельски просунула руку ему под локоть, они зашагали в ногу.

Вечером, открыв дверь в свою комнату, Мариша увидел высокого голого человека, стоявшего в железном тазу посреди комнаты. Перед ним стоял незнакомый солдат, держа на вытянутых руках полотенце. Весь пол вокруг был залит водой.

Плечи человека дымились. В комнате душно пахло ароматом дорогого мыла, смешанным с крепким запахом пота.

Мариша заметил мощную спину в лохмотьях черной шерсти и непомерно малый, обезьяний задок человека и повернулся, чтобы уйти.

— Извините меня, — остановил его густой, мягко-притягательный голос, — не спросясь, влез в вашу комнату. Насвинячили мы тут. Федька сейчас вытрет насухо и проветрит.

Человек повернул к Марише красивую взлохмаченную голову и накрылся простыней.

„Всемирный Цыган,— догадался Мариша, и сердце его екнуло. — Значит, все то — правда, что говорили за завтраком...“

Это загадочное имя Мариша часто слышал в штабе. Так назвал его однажды Вильде, и кличка эта удержалась.

Штабные говорили о нем с восхищением и завистью. Это был крупный интендантский чин. В штабе рассказывали о его темных сделках с продувными поставщиками, о скандальных слухах, связанных с его именем, о веселой ловкости „этого арапа“, умевшего кому угодно замазать рот щедрой взяткой.

— Все покупается, все продается, все дело — в цене, — повторяли в штабе его поговорку.

Говорили в штабе и о бескорыстии этого человека. Уверяли, что спускает он свои барыши с той же легкостью,

с какой и наживает. Проигрывает в карты, раздает „до отдачи“ бесчисленным приятелям, дарит девчонкам, вдохновенно прокучивает в кабаках прифронтовой полосы.

Цыганом звали его не только за разгульную, от барыша до барыша, жизнь. Слыл будто бы Цыган на всю армию знатоком старой цыганской песни, — пропитой, надтреснутый его бас, говорили, необычайно был хорош под стонущую в загребистых руках гитару. Говорили, был он принят даже в ставке, вызывали его туда будто бы бы не раз на интимные вечеринки.

Смутное любопытство влекло Маришу к этому человеку. Он жадно слушал все, что рассказывали о нем в штабе.

А теперь, прикрыв дверь своей комнаты, он вдруг ощутил неодолимую неприязнь к приехавшему.

„Это какой-то зверь“, — подумал Мариша, вспомнив большую, крепко выстланную мускулами спину и темные, дымящиеся плечи Всемирного Цыгана.

Маришу неприятно передернуло.

IX

Начштаба повернул за угол костела.

Там, где из боковой ниши выглядывает изящная в золоченом венчике мадонна, на уединенной скамеечке сидели четверо незнакомых офицеров. Завидев начштаба, они торопливо вскочили.

Космачев вытянулся и отрапортовал:

— По вашему приказанию прибыли. Собраны все. Подъехали из леса задами, лошади поставлены в вишеннике. Чорт знает что: приходится действовать, точно мы в тылу у неприятеля.

Темное, с горячими, запавшими глазами лицо Космачева скривило недоброй усмешкой.

— Что в полках? — осведомился начштаба.

— Хлеба нет, — торопливо докладывал Космачев, — сухари на исходе, подвозка прекратилась, озлобление растет...

— Так, знаю, знаю.

Начштаба в такт покачивал головой.

— Из комитета прислали листовки, повсюду идет обсуждение... Хотят устраивать братание.

— У вас что?.. У вас?.. — поочередно опрашивал начштаба офицеров.

— Плохо, — сказал он, выслушав всех. — Что же вы думаете делать?

— Ждем ваших распоряжений.

Офицеры глянули вместе угрюмо-выжидательно.

Начштаба молчал. Тогда заговорил Космачев, жестко чеканя слова:

— Это что же выходит: доблестное, как говорится, офицерство выдается с головой на пропятие? Наша честь ничем больше не защищена, нам плюют в глаза. Я вам прямо скажу: некоторые из нас поговаривают о самоубийстве, а некоторые подумывают и о добровольной сдаче неприятелю... Да, да!

— И то. и другое — не выход, — выпрямился начштаба.

— А что делать? Что же делать?

— Выход должен быть найден! — начштаба поднял плечи и зашагал прямо в густо разросшийся вишенник.

Офицеры гуськом двинулись за ним.

Там, в сизо-красной гуще кустарника лежали заброшенные пчелиные колоды.

— Прошу вас, господа, — кивнул начштаба.

Офицеры уселись и приготовились слушать. В наступившей тишине было слышно близкое пофыркивание спрятанных лошадей.

Начштаба хмуро двинул усами и заговорил, не подымая глаз от земли:

— Первое. Я только что объяснялся с комитетом. Меня просили присутствовать при заключении перемирия на нашем участке. Я заявил, что никто из офицеров не может принять участие в этом позорном деле. Второе. На улучшение снабжения в ближайшее время рассчитывать не приходится. На все запросы по этому поводу отвечать: снабжение фронта передано в руки комитетов, — они ответственны за создавшееся положение. Третье. Все группы распущенного Офицерского союза должны быть немедленно восстановлены. Необходимо привлечь к ним и надежных унтер-офицеров. Работа эта должна проводиться строго втайне. Списки предлагаю доставить мне завтра. Четвертое. На случай братания — никаких неорганизованных выступлений! Держать связь и ожидать моих распоряжений... Всё!

Начштаба поднялся.

— Германское командование, по моим сведениям, настаи-

вает, чтобы при заключении перемирия обязательно присутствовал кто-либо из чинов штаба. Если мы не сумеем предупредить события, я предполагаю включить в делегацию... нашего Маришу.

Офицеры недоуменно-весело переглянулись.

— Послать им ихнего Вильде, — выкрикнул Космачев.

— Мы посылаем туда, — двинул опять усами начштаба, — только наблюдателя, но ни в коем случае не участника. Надеюсь, всем это понятно?

— Так точно, — притихли офицеры.

— Всё, — повторил еще раз начштаба.

Поздней ночью, когда старый парк гудел за стеной под тугими ветрами и казалось, что помещичий дом уплывает в неизвестную даль одиноким затерянным кораблем, — в эти часы начштаба сидел один за столом.

Почерком, похожим на колючую проволоку, зашифровывал он длинное, сухо убеждающее письмо тому, кого считал единственно возможным спасителем России.

Острые, сырые струйки проникали в щели ставней, колебля пугливое пламя свеч.

„Для начала нужно совсем немного: двух японских корпусов вполне хватит. Главное сейчас — оздоровить тыл. А со здешними мы справимся сами, — тут полный развал, нужна лишь крепкая офицерская организация".

Ветер, идущий по аллее от костела, гудел в строе дубов органными голосами о пришествии дней гнева.

Начштаба тревожно прислушался, нахмурив щетинистые брови.

„Могучая организация — католичество, — набегала сторонняя мысль. — Какое замечательное построение, какая дисциплина! Вот бы где нам поучиться — у этих солдат в сутанах. Управлять нашей страной нельзя без такой организации".

Начштаба долго смотрел в плывущее пламя свеч и снова наклонился над столом.

Он писал по старинному, еще в гимназические годы придуманному ключу: „Анна, Самара, девять, десять", писал тому, с кем дружил в детстве и юности, кто удачливее оказался и в любви (звали ее Анна, и дело было в Самаре)

и в жизни, далеко успев опередить его по служебной лестнице и дороге военной славы.

„Одна за другой затмеваются звезды, но капитаны должны стоять на своих мостиках до конца“, — удовлетворенно прочел вслух сурово-лирическую концовку своего письма начштаба.

И приписал постскриптум:

„Узнаешь ли, друже, витиеватый стиль наших старых, дорогих трактатов? Прими его как должное памяти нашего чудаковатого магистра“.

Так звали они когда-то дряхлого академика, старомодного, с усами до плеч генерала, пламенного почитателя стратегов классической древности и яростного противника усиленно развивавшейся военной машинерии.

Начштаба с усмешкой, чуть приметно разошедшейся в усах, припомнил две первых заповеди старика: „Строй — святое место“ и „Политика — не дело военных“, и жирно подчеркнул в своем письме фразу:

„Офицер отныне должен стать политиком“.

Он задунул свечи, в темноте спрятал письмо за обшивкой дивана и тяжело опрокинулся в скрипучее корыто походной кровати.

X

До прихода гостей Цылечка убрала с углового столика бархатную сумку с отцовским талесом. Сняла с комода пятничные серебряные подсвечники. Смахнула пыль с бумажных роз, издавна стоявших на подзеркальнике. И спрятала за перегородку принарядившихся родителей.

Зальца была заставлена старомодным рухлядным диваном с разлапистыми креслами в простенках. По бокам свинцово-тусклого зеркала висели два увеличенных портрета: пышнобородый местечковый раввин в черной ермолке, с необыкновенно узкими плечами и дороднейшая, с испуганно вытаращенными глазами его супруга встречали необычных гостей своей внучки.

Гости ввалились сразу. Были тут капитан Космачев в парадно угловатом френче, румянорожий „хозяин“ собрания Гедеонов и прочая офицерская мелкота из штаба. Всемирный Цыган привел трех говорливых сестричек из лазарета и сестру-хозяйку из банно-прачечного отряда, известную

в штабе под именем „Мистической сестры“. Из-за высокого костлявого плеча ее несмело выглядывал пришедший последним Мариша.

Гости долго толкались в тесном закоулке около вешалки. Сестрички меняли грязные солдатские сапоги на туфли, принесенные подмышкой, потом долго оправляли друг на друге белоснежные косынки.

Наконец, Мистическая сестра прошла в зальцу и величественно опустилась по середине дивана, поводя огромными, пугающими глазами на исхудалом лице.

— Кто это ваша дама? — подошла к Марише Цылечка. — Смотрите, я ревнивая!

— Моя? Нет, что вы! — сконфузился Мариша. — Мы только вместе вошли. А кто она? Она была курсисткой. У ней был жених. Знаете, как ее называет Вильде: „Рассказ, утративший тему“. Вы заметили большую брошь у нее на груди?

— С портретом красивого военного?

— Да, поручика. Это и есть жених, он пропал без вести еще в начале войны, где-то на Мазурских озерах. Она сразу после этого поехала на фронт сестрой милосердия. Портрет она никогда не снимает, всегда носит на виду. Даже зимой, говорят, ходит с открытой грудью. Может быть, кто-нибудь скажет ей что-либо о женихе.

— Как это все интересно! — засмотрелась на Мистическую сестру Цылечка. — Значит, она его так сильно любила?

— Не знаю. Вильде считает, что все это кокетство. Говорит, что на эту тему во время войны написаны тысяча и один рассказ. Никакой, говорит, ей поручик не нужен, просто жениха ищет.

— Ну, я вижу, он нехороший, ваш Вильде, — вздохнула Цылечка. — Разве так в жизни не может быть?

— Я этому тоже не верил, а она, говорят, действительно выходит замуж за нашего казначея.

— Вон за того — маленького, ушастого? О, ужас!..

Цылечка прикрыла глаза ладонью.

За спиной Мариши звякнул шпорами Космачев, засипел над ухом:

— О чем это вы тут шепчетесь в углу? Что за секреты в обществе? Может быть, мы вам мешаем?

— Так, посплетничали немножко, — встряхнула головкой Цылечка. — А я и забыла, что у меня гости, вот так славно!

Прошу вас, садитесь, пожалуйста! Прошу вас! — шаркала она туфелькой.

Всемирный Цыган придвинул кресла. И когда уселись все, всегдашний томада Гедеонов внес огромную миску с дымящимся вином.

Он держал ее высоко над головой и, пуча глаза, по-дьяконски прорычал:

— Пийте от нея вси-и!..

Обошел всех сидящих и торжественно опустил миску посредине стола. В зальце душно запахло пряными специями глинтвейна.

— Первое пьем, — зачерпнул томада из миски, — в честь нашей маленькой, дорогой хозяюшки.

Сияющая Цылечка чокнулась со всеми. В коричневом платьице гимназистки она казалась еще тоньше и застенчивей, чем раньше. Последним протянул к ней свой стакан Всемирный Цыган. Мариша заметил стойко задержавшийся на ней его взгляд.

Потом пили поочередно за „искосеса“, за „исколофа“ и за „искосола“ [1].

„Искосолом“ был единственный Мариша.

— Садитесь поближе, вот сюда, — подтянула Цылечка к себе его стул и прошептала на ухо: — Мне с вами хорошо. Почему это?

— Не знаю почему, — отвстно коснулся губами ее волос Мариша, — но и мне здесь хорошо только с вами. Я бы не пришел сюда, если бы не было вас.

— Это правда?

Цылечка благодарно посмотрела в его закрасневшееся лицо.

— Вам сколько лет, Мариша?

— Восемнадцать.

— И мне. Давайте будем друзьями, хорошо?

Они заговорщически чокнулись и выпили.

— Э, э, э! Гимназисты! Не шибко· там! — погрозил им пальцем Космачев.

Горячее, пахучее вино скоро бросилось всем в голову. Заблестели глаза, зарумянились у всех щеки. Мертвенное лицо Мистической сестры пошло яркими пятнами. Залив-

---

[1] Сокращенные названия исполнительных комитето сестер милосердия, офицеров и солдат.

чато хохотали сестрички из лазарета. Сразу стало шумно и тесно за столом.

Мариша вздохнул и отодвинул свой стул в сторону.

— Вы что?—посмотрела Цылечка.

— Жарко,—сказал Мариша, трогая разгоряченный лоб.

— Ну и я с вами.—И заговорила тихо:—Я думала сегодня ночью над тем, о чем вы меня спросили. И вы, конечно, уезжайте, раз вы были обмануты. Вам не должно быть стыдно. Знаете, я жила у дяди в Минске, он портной; так он мне говорил, что все солдаты бедные люди, что им засыпали глаза песком, а большевики—молодцы. Я ему верю, он добрый и честный, мой дядя, и ходил на все митинги, чтобы узнать правду.

— Цецилия Яковлевна,—посмотрел на нее горячо Мариша,—я не могу уехать, пока вы тут. Мне все кажется, что очень скоро на фронте случится что-то ужасное.

— Вы меня жалеете?—спросила она, взяв его руку в теплые ладони.

— Если бы я мог,—трудно выдохнул Мариша,—то есть, нет,—если бы вы захотели, я увез бы вас отсюда куда-нибудь далеко-далеко. Где-нибудь есть же хорошие люди!.. Мы бы стали там жить... О, что я говорю! Только вы не думайте, что я пьян, нет.

Мариша отвернулся и растерянно смолк.

— Вы хороший,—вздохнула Цылечка, выпуская его руку.

— К порядочку! Открываем концертную часть,—объявил томада.—Уважаемый маэстро, просим!

Гедеонов почтительно положил гитару на колени Всемирного Цыгана. Тот налег на гитару тяжелой грудью и, как бы прислушиваясь, слегка тронул струны. Черный завиток медленно сполз на его ставший сумрачным лоб:

— Чшшш!..—поднял руки Гедеонов.

В наступившей тишине загремели однообразные переборы гитары, и вдруг рванулся во всю силу такой надрывный голос, что Мариша вздрогнул.

Рас-ста-ва-ясь... он-на... го-во-ри-ла...
Не заб-буду... теб-бя... на чужб-б. не...

На Маришу уставились мрачные, невидящие глаза Цыгана. И губы его сомкнулись презрительно и враждебно, пока рука теребила жалобно тенькавшие струны.

Ы-ад-на-во лишь.. теб-бя .. й-я люб-била...
Ы-ад-на-му... лишь... теб-бе до-зво-ля-ла...

С тяжким свистом вырывалось дыхание певца. Казалось, петь ему было нестерпимо трудно, мучительно сводились брови, закатывались глаза, и бледность покрыла лицо. Он содрогался всем мощным своим телом в такт рывкам гитары.

Мариша украдкой посмотрел на Цылечку. Она сидела, беспомощно опустив руки, и в зачарованных ее глазах бродили смутные вспышки.

— Вот поет! — придвинулся к Марише штабной казначей. — Все можно простить и все забыть.

— Да, артист, — пересиливая себя, согласился Мариша.

Сердце его томительно сжалось. Захотелось убежать из этой зальцы в просторную темноту осенней ночи.

А щемящая песня взмывала к низкому потолку и прядала вниз, заполняла все собой, и нельзя было противиться ее вкрадчивой расслабляющей силе.

Мариша взял свой стакан и торопливо сквозь зубы стал цедить черное дурманное вино.

Песня оборвалась.

Отложив гитару, Цыган нехотя отмахивался от восторженного щебета „искосеса".

— Нет, не в голосе я сегодня.

Он закурил и отошел в угол. К нему присели Космачев и Гедеонов. Завязалась тихая беседа. Скрытно, на глубоких низах рокотал бас Всемирного Цыгана. Он разгладил на ладони скомканную бумажку и показывал офицерам. Космачев вскидывался на стуле и помахивал рукой.

— ...следственную комиссию... разыскивают... — разобрал Мариша приглушенный голос Цыгана.

— Дурак будешь, коли дашься, — равнодушно сплюнул в угол Космачев.

Офицеры опять перешли к столу.

Мариша отметил про себя, что Цыган много и жадно пил в этот вечер. Старавшийся не отставать от него Космачев уже ходил бледный и встрепанный, с неестественной улыбкой — ему все хотелось сказать речь, но томада усаживал его в кресло и пригнетал за плечи:

— Тут дамы... Сорвется что-нибудь этакое. Вот пойдем в штаб, ты на улице скажешь. Продолжаем наш концерт! — кричал Гедеонов. — Маэстро, пожалуйте!

И снова пел Всемирный Цыган свои неистовые песни, требовательно налегая на немощно дребезжавшую гитару.

— Коротышку! Коротышку! — требовали офицеры.

И с ухмылкой, разошедшейся в усах, запел Цыган, весело поигрывая плечом и помигивая кому-то:

В одну ночку — любовь,
Вытри очи и молвь:
„Коротышка-любовь
Прифронтовая,
Эх, девчонка моя,
Чернобровая!“

Мистическая сестра, толкнув соседку, повела любопытным круглым оком в сторону Цылечки. Мариша побоялся обернуться.

Пьяный Космачев усердно притопывал, на столе тонко подзванивали стаканы.

— Кой чорт! — заорал он вдруг. — Почему речей нет? Томада ни к дьяволу не годится. Я требую слова!

— Говори, чорт с тобой, — махнул рукой Гедеонов. — Только.. — Он наклонился и проговорил скороговоркой: — Только, ради создателя, не порть мне настроения: не говори насчет мать-родины на этот раз. Воздержись, а?

Космачев вскочил, потирая руки.

— Им-менно, — замычал он, — им-менно насчет родины буду говорить я... я, который...

— Ну, что „который“? — с неудовольствием покосился томада.

— Кот-торый им-меет на это право. Да!

Космачев гордо выставил локоть с семью золотыми „шпалами“, по счету полученных ранений.

— Я кр-овь за нее проливал! — выкатил он страшные глаза.

За столом притихли. Мистическая сестра боязливо отодвинулась. Только Всемирный Цыган задумчиво подкручивал смолевый ус.

— И я не допущу, чтобы разные там еврейчики...

— Кха! Кха! — смущенно склонился над столом широкой проплешиной Гедеонов.

Всемирный Цыган вскочил и отошел в угол.

— Свинья ты, брат, — сказал он хмуро.

Космачев не сразу понял, в чем дело. Только заметив погасшее сразу личико Цылечки, спохватился он.

— Извиняюсь, — пробормотал он, — я имел в виду предателей родины, германских шпионов, большевиков...

Сестрички из лазарета переглянулись и прыснули.

Космачев сел.

В зальце длилось стеснительное молчание.

— Говорил я тебе! — слышимо для всех зашипел из-под локтя Гедеонов. — Предупреждал!

Сестрички прыснули опять.

Цылечка встала и приложила ладони к щекам, — тоненькая и строгая в темном платьице.

Как бы ища защиты, она оглядела всех сидящих за столом и подошла к Марише. Провела рукой по приглаженной его голове и заговорила тихо:

— Только он хороший. Мы с ним уедем отсюда далеко. А вы... а вы... как вы смеете! Уходите вон! Я вас ненавижу! Слышите?..

Звонкий голосок ее сорвался. Она топала туфелькой, и быстрые слезки катились по ее щекам. Мариша крепко сжал ее руку.

— Нам пора, — громко сказала Мистическая сестра, поводя глазищами на ушастого казначея.

Все вскочили. Кто-то опрокинул стул. Закачалась лампа над столом.

Мариша шагнул вперед. Замелькали перед глазами призрачно вытянутые лица гостей.

„Ага, испугались!" — подумал Мариша, крепче стискивая руку Цылечки.

Они стояли так против всех, тесно касаясь друг друга, и ждали.

Широкая темная тень качнулась перед Маришей, он пошатнулся от сильного толчка в плечо.

Всемирный Цыган притянул к себе Цылечку и покрыл ее рот долгим, неотрывным поцелуем. Мариша почувствовал ее сразу ослабшую ладонь и выпустил руку. Перед глазами его высоко и бессильно взметнулись в воздухе тонкие в шелковых чулках ноги Цылечки.

Всемирный Цыган поднял ее на руки и, грозно нагнув взлохмаченную голову, вразвалку пошел прочь. С ненавистью смотрел Мариша на его широкую спину и осевший плоский зад. Ему живо представились черные мокрые лохмотья шерсти на этой обезьяньей спине, и он весь содрогнулся от отвращения.

Всемирный Цыган толкнул ногой дверь и скрылся за перегородкой. Тотчас оттуда выкатились толстая Фрида

и маленький седобородый ее супруг. Оглядевшись, они робко уселись в кресла по обе стороны зеркала. Старичок склонил голову набок и растерянно прощупывал бородку. Фрида, вытянувшись вперед, усердно присыпала солью залитый вином край скатерти.

Из-за перегородки доносились заглушенные рыданья Цылечки.

Притихшие гости торопливо толкались подле вешалки. Провожал их сразу отрезвевший Космачев. Он громко и непринужденно шутил им вслед, просовываясь за дверь в темноту.

Потом прошелся, позванивая шпорами, по зальце, расстегнул ворот френча и вытянулся во весь рост на диване.

— Чорт, как устал сегодня! Слушайте вы, родители! Шли бы вы к себе в чуланчик, завтра наведете тут порядок.

Он длинно с подвыванием зевнул.

Фрида кивнула супругу, и оба они на цыпочках двинулись к двери.

— До свиданья, извините, господин капитан, — сказала Фрида.

— Извините, — безучастно повторил супруг, ступая следом.

— Вот что, Мариша, — сказал Космачев, лениво почесывая за пазухой, — зря ты тут примазываешься, не выйдет у тебя дело.

Он поманил к себе пальцем Маришу и снизил голос:

— Ты знаешь, сколько она ему стоит, у-у! Никто не считал, понял? Там — выходить будешь — посмотри, что́ накрыто ковриком: четыре ящика консервов приволок в этот раз.

— Родителям на утешение, у-ах! — зевнул на всю зальцу Космачев. И добавил, оглядывая потолок заволакивающимися глазами: — Все покупается, все продается, все дело — в цене. В талмуде об этом, что ли, сказано, у-ах! — махнул он обессиленной рукой на кожаные переплеты в шкафчике.

Мариша выпрямился. Он стоял так долго, упорно глядя на портрет пышнобородого человека в ермолке, на печальные, выцветшие розы у зеркальца, криво отраженные в его тусклой бездне.

За перегородкой было тихо. Посапывал носом Космачев. За шкафом несмело подал голос сверчок.

Стуча сапогами, Мариша прошел к вешалке, торопливо нахлобучил фуражку, запахнул шинель, не попадая в крючки. И вышел в ночь.

Сырая, тихая темень стояла над местечком. Где-то далеко еще были слышны взвизги сестер и смех пробиравшихся через уличную топь гостей.

„Надо мной смеются“,—подумал Мариша.

Он вышел, наощупь придерживаясь стены, в поле. Огромными, уходящими в небо холмами вздымались во мраке местечковые хаты. Хоть бы огонечек где-нибудь.

Черно, тихо. Недвижный воздух касался его лица, как набухшая водой мездра, оседая на бровях и ресницах холодными капельками. Кислая земля расползалась под ногами.

„Все потеряно теперь. Не надо примазываться, как говорит Космачев, не выйдет дело. Все покупается, все продается... Так сказано в талмуде, что ли...“

— Цылечка!—вскрикнул в отчаянии Мариша.

Он слепо ринулся вперед, как бы спасаясь от погони.

И вдруг земля ушла из-под ног Мариши. Острые когти впились в его горло. Вонючая жижа плеснулась в лицо.

Мариша протянул руки и близко нащупал мокрые прутья колючей проволоки. Он попал в огороженный солдатский ровик, каких много было выкопано на задворках местечка.

Ярость взбурлила в Марише, он полез напролом из смрадной, липкой ямы, с хрустом подминая под себя локтями и грудью проволочную загородку. Колючие шипы рвали сукно шинели, больно вонзались в тело.

— О-о, будьте прокляты!—стонал Мариша, вырываясь из цепких пут проволоки.

Под руку подвернулся тяжелый, осклизлый кол. Мариша выдернул его из земли и поднял над головой.

— Выходите все! Всемирный Цыган, выходи!—кричал он, плача от боли и ненависти.

Он крутился на месте, с гуденьем размахивая колом:

— Убь-ю!

Ночь не откликнулась ни единым звуком.

Мариша отбросил кол и, тонко всхлипывая, пошел к штабу. Больно саднили на шее царапины, бежала за ворот горячая струйка крови. Тьма давила на его плечи непомерной тяжестью. Ноги подкашивались.

XI

Ночью пруд покрылся льдом, кто-то пробовал — крепко ли: на поверхности его были набросаны камешки, и на черной, просвечивавшей сквозь лед глуби всюду белелись звезды, как на пробитых пулями стеклах витрин, — в Петрограде так было после революции.

Генерал сидел у окна, грустно подперев щеку рукой. Осеннее жидкое солнце, пробившись сквозь сетку ветвей, желтоватой, негреющей тканью мерцало на подоконнике.

Генерал смотрел в парк, на забросанный камнями пруд и вспоминал детское: „На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, скользит и падает... скользит и падает... Как же дальше?..“ И было беспокойно, что не мог вспомнить этого, еще со слов матери заученного стихотворения.

— А, господин генерал?

— Что такое? — неприятно вздрогнул генерал на громкий голос Вильде.

— Принес вам показать то самое.

Прапорщик хлопнул на стол грузную синюю папку.

— Что такое? — отодвинулся генерал.

— То самое, о чем я вам говорил. Документики-с. Да не какие-нибудь, липа-с, самые настоящие. Видите?

Вильде быстро перелистывал бумажки, тыча пальцем в печати и скрепительные подписи адъютантов, военных чиновников, старших писарей.

— Мой трехлетний собирательский труд. Тут вся „задняя“ войны. Нигде в газетах вы этого не прочтете. — Вильде как бы взвесил на ладони тяжелую папку: — Лет этак через двадцать мне за это уплатят чистым золотом. Вес на вес.

— Это за что же? — любопытствуя, покосился генерал.

— А вот я вам сейчас покажу.

Вильде сел за стол, деловито подобрал бумажки, расправил их веером в руке, как игрок разбирает карты — с чего ходить?

— Мы с вами о чем прошлый раз спорили? — азартно выглянул он на генерала.

Генерал пожал плечами и нахмурился.

В столовую вошел Мариша; он только что вернулся из парка и, дуя на порозовевшие пальцы, прислонился к

теплой печи. Генерал любовно посмотрел на густо охваченные румянцем его щеки и поманил пальцем:

— Подите-ка сюда, друг мой. Зазяблись? И почему у вас повязана шея? Горло простудили?

Охватив рукой податливую талию Мариши, усадил его рядом с собой, тормошил за плечи:

— Что вы невеселый какой, а? И вас какая-то муха укусила? Ну-ну, ничего, надо перетерпеть, обойдется как-нибудь. У вас еще все впереди, верно?..

И уже подобрев, генерал с задором посмотрел на разбиравшего бумажки Вильде:

— Да, так о чем, бишь, мы спорили?

— Изволите помнить, — я утверждал, что война дело разбойничье. Так?

— Ну-с?

— Я говорил: не пушкам решать вопрос мировой справедливости. Вот, скажем, мне, приват-доценту математических и иных наук, куском железа пробило прямую кишку, и у меня от этого затруднены испражнения; какое имеет отношение этот случай к лучшим идеям человечества? Ведь абсурд. Не так ли? Так позвольте мне полностью усомниться в наличии таковых идей и в этой вашей „великой“ войне. Вот-с, извольте! Пропустите свидетеля. Голосом полной искренности, ха-ха!..

Прапорщик Вильде ловко выкинул из-под локтя одну из бумажек; покачавшись в воздухе, она села на стол прямо перед генералом.

Генерал хмуро протер очки и принялся за чтение, чуть пошевеливая губами. А из-за золотого генеральского плеча побежали по неровным карандашным строчкам быстрые глаза Мариши.

„Малышка моя, перечитал сейчас твое письмо, и опять скверно в душе... Чую твой слезный ослабший голосок... Эти беспомощные жалобы сразу сшибли меня с привычных ходуль, ослабло сейчас все во мне. Что я могу сказать тебе сейчас? Чем утешу? Все будет ложь, не верь никаким утешениям.

А настоящее вот оно: мне страшно, я стону от ужаса, только голос мой не слышен от воя и грохота канонады. Вот уже несколько дней кругом меня разверзается

земля и мечет в небо огонь. А через час мы опять идем в наступление. Прощаюсь с тобой, малешка моя.

Бедный мой Васька, он погиб от газов третьего дня. Смешно! Когда он, уже отравленный газом, издыхал на полу землянки, из щели выбежала угоревшая мышь. Велик инстинкт жизни! Васька, завидев мышь, еще описал некую фигуру в воздухе, чтобы схватить ее, но... опоздал: газ уже сжег ему легкие.

Я стараюсь отвлечься, перемочь дрожь, которая колотит меня всего.

Сейчас ночь, скоро будет светать, ты спишь сейчас...

Как я люблю тебя, мне кажется, я никогда еще не умел рассказать тебе об этом настоящими словами, люблю нашу комнатку, люблю поле, лес, травку — так, вероятно, любят умирающие. Жить хочу я, о боже мой!..

Зачем мне умирать, за что, за какую вину? Ничего не знаю, не понимаю. В этом ужасе не звучат торжественные слова, все полиняло, ни во что не верю больше.

Инстинкт жизни велит мне: беги, прячься, рви ногтями землю, как крот; но я знаю, что поздно, и отчаяние трясет мою руку, я едва веду карандаш. Малешка передай маме..."

Письмо обрывается на половине фразы.

— Найдено, — сказал деловито Вильде, — в сумке убитого офицера. Не отправлено за отсутствием адреса. А вот извольте видеть: о том же самом свидетельство, так сказать, от науки.

Вильде двинул по столу новую бумажку.

„Настоящим честь имею донести, что регистрация случаев предумышленного членовредительства среди нижних чинов N-ской дивизии показывает заметное повышение.

Так, из разных рот N-ского полка было доставлено четырнадцать человек с глубокими опухолями разных частей тела, преимущественно ног, требующими операционного лечения в стационарах.

По тщательном выяснении дела мною было обнаружено происхождение указанных опухолей. Заболевшие

нижние чины по определенному между собой сговору и в строгой очередности производили себе прививку полевого лютика или курослепа, привязывая натуго бинтом к намеченному месту. Зачинщики по выздоровлении арестованы, и трое по приговору военного полевого суда расстреляны.

Второй случай, который удалось распознать не сразу, охватил несколько рот N-ского полка. В полковой околоток стали являться нижние чины с явлениями острого воспаления глазной сферы.

Фельдшер, полагая, что имеет дело с какой-то заразительной болезнью, откомандировывал больных в тыл для лечения.

Находясь на излечении в тылу, больные на вопросы о причинах заболевания отвечали весьма различно. Наконец по сознанию одного из преступников удалось установить, что причиной заболевания была известь, закладываемая под глазное веко.

Пятеро установленных зачинщиков по приговору военно-полевого суда были расстреляны, зараза прекращена.

Главный врач .(имя рек)".

— Говорили мне, — сказал Вильде, — что сей эскулап представлен был за проявленное рвение к соответственной награде, но, к сожалению, приказа о том мне не удалось разыскать.

Вильде испытующе посмотрел в слоистые стекла генеральских очков. Генерал был сумрачен и спокоен.

Вильде выбросил новую бумажку:

— А вот вам акт твердости в пределах, дозволенных инструкцией.

„Составлен сей акт комиссией, выезжавшей в местечко Соколяны для обследования жалоб по случаю реквизиции скота у населения означенного местечка.

При отборе у крестьянина Януша Коваля годовалой свиньи жена означенного Коваля стала кричать, чтобы собрать народ и тем вызвать возмущение, сама же, имея на руках дитя, держала свинью за заднюю ногу.

Вследствие чего произошло раздражение, как то: нижний чин комендантской команды Хомутов Алек-

сей сказал: „Мало вы, злые паны, попрятали нашего солдатского добра!“, и с этими словами поднял винтовку, имея штык примкнутым и желая, по его заявлению, заколоть на месте сильно визжавшую свинью, что́ инструкцией в подобных случаях разрешается.

Тогда женщина со словами: „Ешьте лучше мою дитю“, сама натолкнула его на штык. И дитя укололось и умерло. О чем и составлен настоящий акт.

К сему подписи“.

— Ой! — вскрикнул Мариша и зажал рот ладонью, растерянно переводя глаза с прапорщика на генерала.

Генерал отложил бумажку и как бы утомленно прикрыл глаза. И тотчас же открыл их — уже спокойные и проясневшие.

И, глянув в них, Вильде твердо двинул по столу новую бумажку:

— О доблести и геройстве.

И опять пригнулся Мариша к плечу генерала.

„...Мною был получен приказ о конвоировании в распоряжение этапного коменданта взятых в плен германцев, в числе двадцати трех человек.

По прошествии семи верст в лесочке нам навстречу попался конный разъезд, двенадцать человек, не знаю какой части. Ехали и пели песню. Повстречавшись с нами, г. офицер спросили, куда мы ведем пленных, и потребовали с меня документы.

„Я их приму“, — сказали их благородие и приказали конвою отойти в сторону, говоря, что сейчас покажут приемы рубки.

И выбрали самого здорового германца и поставили его на полянoчке и, разъехавшись, одним махом ссекли ему голову. И то же стали делать другие конные, и так всех германцев порубили на выбор.

И еще доношу, что некоторые германцы сильно плакали, а один схватился за ногу их благородия и волочился, вследствие чего их благородие отсекли ему руку.

А после порубки всех, их благородие достали сумку и расписались на моем документе, что и прилагается“.

— Так-с,— скинул очки генерал, приготовившись к разговору.— Это все?

— Нет, вы прочтите резолюцию,— подвигал обратно бумажку Вильде.

И прочел сам наискось разбежавшиеся загогулины синего карандаша:

— „Донцы-молодцы пленных не берут. Есаул...“ Вот только подпись этого храброго человека разобрать нельзя.

Вильде снова заглянул в свою папку. Генерал торопливо заслонился рукой:

— Увольте, увольте! Достаточно!

— Не нравится?— в упор оскалился Вильде.

— Видите ли,— постукивая очками по столу, наставительно заговорил генерал,— война есть война, и жестокость была с обеих сторон. Ваши документы односторонни, и это... это непатриотично пользоваться ими. Немцы потопили „Лузитанию“, немцы в Бельгии...

— Знаю! Слыхали!— раздраженно гаркнул на генерала Вильде, и глаза его стали угрюмыми.

Генерал смолк и отвернулся к окну, упорно смотрел на засыпанный камнями лед.

„На красных лапках гусь тяжелый...— всплыло опять в памяти,— скользит и падает... А как же дальше?..“

Вильде посмотрел на испуганно опустившего глаза Маришу и заговорил раздельно:

— Суть войны одинакова всюду. В этом я с вами согласен. Именно поэтому не нужно искать никаких оправданий в жестокостях. Оправданий не может быть.

Наступило трудное, давящее молчание. Генерал сидел отвернувшись. Мариша поднял боязливый взгляд на Вильде и удивился: суровые глаза его вдруг засветились нежностью. Он бережно приглаживал на ладони маленький листочек.

— Слушайте, слушайте, Мариша. Это для вас, для таких, как вы.

Это война. Если спросят меня,
В чем ее смысл и значенье,—
Буду молчать, чтобы плакать потом,
С бедной матерью плакать о сыне,
Или с детьми пред раскрытым двором
В полуголодной пустыне.

— Вот,— заговорил странно падающим голосом Вильде,— молчать, чтобы плакать потом. Я вырвал этот стишок из

записной книжки одного вольноопределяющегося, такого же молодого и неискушенного, как и вы, Мариша. Он лежал кверху безусым лицом и в глазницах его замерзли полные лужицы слез. Бедный поэт, он был ранен в плохое место — в живот и замерз в горах, вдосталь наплакавшись в ночную метель, бедный мальчик. За что? За что, я вас спрашиваю?..

Мариша поднял голову — вопрос был обращен к нему. Ему живо вспомнилась темная лестница и вывеска на ободранной двери: „Дамская портниха, а также беру ажурную строчку", и сальный запах притиснутой груди, и холодная капелька, убежавшая за ворот. Вспомнился портрет угрюмого гимназистика, высоко поднятый семиклассником Гусевым: „Вы не должны плакать: он умер героем!"

А вдруг это он, Митенька Невзоров, первый доброволец из гимназии, плакал в ту ночь, раненый в „плохое место"?..

Мариша робко посмотрел в помрачневшее лицо Вильде и виновато понурился.

Вильде встал и прошелся по столовой.

— Вот если я сумею донести в будущее последний тихий вздох, последнюю бессильную слезу, последний пар дыхания этого неповинного мальчика, как я их сам чувствую, — вот тогда я буду удовлетворен. Разве не ужасно, не преступно, что человек, этот высший цвет природы, чудесный итог ее миллионнолетних превращений, режется в крошево и развевается прахом с лица планеты, хозяином которой он числится? Во имя чего, спрашивается? Кто смеет обрывать эту короткую, прекрасную мою, твою, его жизнь? Будущие поколения будут перешагивать ужасающие могилы этой войны, проклиная нас, не имеющих силы остановить эту подлость сейчас же, немедленно...

Генерал резко обернулся:

— Позвольте, позвольте! Какими средствами и на каких условиях?

— Любыми и на любых, — остановился Вильде.

— Брататься пойдете? — сощурился генерал.

— А что вы думали? И пойду!

Вильде торопливо порылся в папке и с торжеством взмахнул в воздухе толстой, туго сшитой тетрадкой. Страница за страницей он взъерошил эту тетрадку, и перед

глазами генерала замелькали серые, измятые, густо проштемпелеванные и перечеркнутые военной цензурой листы.

— Самое веское в моей коллекции! — сказал Вильде. — Это пишет простая „серая скотинка". Тут, видите, и русские и немецкие письма. Я, как мародер, лазил по карманам трупов, искал за холодной пазухой, заглядывал в сумки, в записные книжки, доставляемые в штаб. И вот то, что я собрал, — великое сокровище.

Он приблизил к лицу генерала медвежьи злые глаза и заговорил тихо, с угрозой:

— Ненавистью звучат эти голоса. Неназистью! А что, если... А что, если вопрос о войне будут решать они сами? Что тогда? Что, если через головы мертвоглазых старцев, засевших в штабах и правительствах, вопрос о жизни и смерти будет поставлен самими солдатами? Вы думаете, они будут спорить об условиях? Нет-с, им спорить не о чем. Вот в чем смысл братания, понятно ли это вам? Да вы меня слушаете? — оглянулся Вильде.

— Слышу! — коротко и по-странному звонко выкрикнул генерал. — Я не глухой, я все слышу!

Он спрятал дрожащими руками очки и, раздувая щеки, с красным лицом подбежал к Вильде:

— А вы знаете, как называются такие разговорчики? Из-мен-ни-чес-ки-ми! Да-с!..

Рванул книзу за рукав Вильде и выбежал, хлопнув дверью.

— Чудак, ваше благородие! — посмотрел ему вслед Вильде и засмеялся. — Как вот ему объяснить, что мы живем уже в другом веке, чем он? Не понимает этот воинственный помещик, что если его дедка целил глазом на Святую Софию и кричал: „Братушки, на супостата!", то теперь все это пригодно только для оперетты. Ну и чорт с ним! Верно ведь, Мариша?..

Вильде безнадежно махнул рукой и стал завязывать свою папку.

XII

Молнийным шаром прокатился генерал сквозь кухню; как в сильной сквозняковой тяге, с грохотом захлопывались за ним все двери. На крыльце зашипел на Япошку, мирно крутившего усенки перед зажатым в ладонь осколком зеркала, и понесся по аллее.

Ошарашенный Япошка долго смотрел генералу вслед, жиденькие хвостики усов его медленно и как бы недоуменно раскручивались.

Генерал бегал в пустых аллеях, размахивая руками и возбужденно разговаривая с собой. Он нервно хватался за усы, привычным жестом стараясь заправить их в рот.

„Ха! „Война — разбойничье дело". Сказал тоже! Это еще мы посмотрим, кто тут прав, господин прапорщик Вильде!..

А доблесть, а честь, а величие нации? Старые, овеянные легендой знамена над гробницами славных полководцев? А золотом написанные названия геройских полков на мемориальных мраморах?..

Видели ли все это вы, господин собиратель грязных документов? Посетили ли вы хоть раз сумрачные притворы знаменитых храмов, памятников отечественной славы? Неужто не забилось при этом ваше сердце? Да полно, русский ли вы после этого?

И потом, разве в войне побеждает не сила национального духа, не его способность к дисциплине, выдержке, самоотвержению? Разве война не служит выражением организационного гения нации, великого чувства единства во множественности?

И это не разумом постигается, а ощущением, инстинктом, кровной связью со своим народом, с его тысячелетней историей. Русским сердцем, господин немецкий приват-доцент! Да-с!.."

Генерал сердито остановился перед раскрытыми темными дверями сарая. На помосте, меж автомобильных колес он увидел широко раскинутые солдатские сапоги. Звонкий, горячий стук далеко разносился в парке.

Упершись руками в колени, генерал с любопытством присел в дверях.

— Ну! Свет закрыл к дьяволу! — заорал на него сдавленный напряжением голос из-под автомобиля.

— А ты чего кричишь? Кто такой? Какой части? Ну? Встать смирно!

Генерал пнул корявые огромные сапожищи и отскочил.

Из-под автомобиля неспешно вылез председатель комитета Семенов.

В измазанных руках он вертел тяжелый ключ, вокруг на полу были рассыпаны гайки. Председатель вытер рукавом потное лицо и сказал медленно и нехотя:

— Какое-такое „смирно“? Видите — работаю, а вы свет застили. Так я ж и не видел — кто, думал — кто из команды.

— То-то, не видел! Не видел! Кто такой? Что тут делаешь?

— Да вот кузова у ваших машин сымаю, слесарь я. Платформы поставим, хлеб на позиции возить. А то грузовые никак не берут.

— А вы спросили? А ты меня спросил? — сразу рассвирепел генерал, подступая ближе.

— Но-но! Не тыкай! — зычно поднял голос председатель, с угрозой уставляя усы. Ключ в его руке мерно закачался.

Голубые выпуклинки генеральских глаз полезли на лоб.

— Ма-ал-чать! — яростно затоптался на месте генерал. — Аре-стую!

Он вцепился в рукав председателя и рванул.

Семенов отшвырнул ключ, и глаза его в сумраке навеса зажглись фонариками.

— Уходи прочь! — торопливо и негромко выговорил он.

— А ты знаешь, что такое английский бокс? А ты знаешь, что такое английский бокс? — круто пошел на него генерал, сразу взъерошившись и выставляя вперед розовые кулачки.

От толчка председатель крепко выпрямился.

Один ус его попрежнему торчал вверх, другой, растрепанный, нелепо обвис на губу. От этого вид его был зловеще страшен.

Семенов молча шагнул к попятившемуся генералу. И вдруг тяпнул по плечам генерала тяжелыми руками с такой силой, что тот низко присел и коротко, по-бабьи икнул.

Потом председатель широко раскрыл руки, и оба они схватились в крепкий, пыхтящий ком, с грохотом покатившийся по деревянному настилу.

На крик генерала прибежали солдаты комендантской команды, работавшие в соседнем сарае.

Насев сзади, они едва разомкнули кольцо железных председателевых рук, и высвободившийся генерал отскочил в сторону. Он поминутно поправлял криво обвисающий погон и, отдуваясь, выкрикивал:

— Мерзавец! Под суд отдам!..

А председатель, чуть побледнев, угрюмо поводил белками и усмехнулся в растрепанные усы:

— Тоже, под суд! Это которого же числа приходить?

Солдаты враз прыснули, а председатель опять полез под машину. И звонкий, горячий стук снова покатился по парку, настигая и подталкивая в спину убегающего генерала.

В столовой генерал возбужденно рассказывал о битве в сарае. Он сучил локтями и, все поправляя спадающий погон, совал в воздух кулаком:

— Славно я его... в рожу! в зубы! в усы!.. Этак, этак!.. Даже, вон видите, кожу на кулаке содрал.

Из угла растерянными глазами смотрел на генерала Мариша. И еще рассеянно слушал его, неотрывно глядя в парк, начштаба.

„Как глупо, бестактно! — нарастало в нем неодолимое раздражение. — Подрался с солдатом, фу!..“

Холодный ветер начисто переметал аллею, стайками гнал серые листья в канавку. Казалось — то лавой рассыпавшаяся конница бешено пролетает гладкий и ровный рельеф, чтобы укрыться в низине.

И чисто выметенная аллея стала светлой и пустой, как подзорная труба. В конце ее четко теперь виден двурогий серый костел.

Начштаба любил там сидеть в одиночестве. Там выглядывает из ниши маленькая мадонна с лукавой улыбкой польской паненки на мраморном личике. И над ней вьется голубое покрывало с золотой латинской вязью: „Ave, Maria, gracia plena“, — чистый, светлый язык мертвых.

„Анна, Самара, девять, десять“, — вспоминает начштаба ключ своей тайнописи, оставшейся навсегда без ответа.

В только что полученной сводке прочел начштаба на мгновение остановившую его сердце весть: тот, кому писал он глухими ночами длинные, убеждающие письма, упал с подножки своего вагона прямо в разъяренную солдатскую толпу, — пуля революционного матроса пронзила ему горло.

„Анна, Самара, девять, десять, — язык мертвых. Что же теперь делать? Куда итти? Одна за другой затмеваются звезды...“

— Так как же, Яков Сильвестрович? — заговорил просительно генерал. — Под суд его, а? Ведь этот негодяй срывал на мне погоны, видите? — Он жалобно помахал

опавшим крылышком золотого оплечья. — А? Яков Сильвестрович?

— Знаете, не выйдет! — резко щелкнул каблуками начштаба. — Прочтите вот тут.

И твердо зашагал в свою комнату.

Притихший генерал с недоумением взял серую, еще сырую от клея бумажку, поднес к глазам, не расправляя оглобелек, очки и стал медленно вчитываться в тусклые строки телеграфной ленты.

XIII

В штабе видели этот необычно ранний съезд верховых к комитету и тревожились: в глубоких окнах барского дома то-и-дело мелькали беспокойные лица. И даже генерал не вышел в обычный час гулять в парк.

Мариша явился в комитет точно к назначенному часу. Он несмело прошел через переполненную солдатами кухню и остановился перед столом председателя.

Семенов пил чай, опуская усы в глубокую жестяную кружку. Перед ним на лавке стоял его кованый сундучок. Изнутри на откинутой крышке были наклеены: картина „Переход русских войск через р. Неман“, групповая солдатская фотография и вокруг зеркальца открытки с улыбающимися красотками. Вынимающаяся верхняя часть сундучка была домовито разгорожена на маленькие закрома с выдвижными крышками. На крышках было вырезано: „соль“, „сахар“, „чай“, „табак“ и даже — „письменный прибор“. Такие сундуки видал Мариша у старых фельдфебелей и кадровиков-унтер-офицеров, — в серой казарменной жизни они заменяли им уют давно утраченной домашности.

К председателю один за другим подходили прибывшие с фронта делегаты, знакомо тянули через стол руку, и происходил тут короткий, больше бровями и невнятным движением пальцев, разговор:

— Товарищу Семенову!

— Здравья желаю!

— Значит... того-этого?..

— У-гу!

Семенов макал ржаной коркой в отделеньице с солью, отщелкивал зубами кусочек сахару и снова опускал усы

в кружку. А глаза его зорко оглядывали прибывающих и уши ловили обрывки разговоров.

Мариша подал свое удостоверение. В нем туманно указано было, что „состоящий при канцелярии штаба вольноопределяющийся Мариев направляется для присутствования при всех имеющих быть переговорах с противником". Никто из офицеров не захотел подписать это удостоверение, подмахнул его за дежурного адъютанта один старший писарь.

Семенов, не отрываясь от кружки, долго вчитывался в эту бумажку и одобрительно кивнул:

— Садись, вольнопер.

Он смачно обсосал усы, задвинув крышки всех закромов в сундучке, и кликнул писарька:

— Все, что ли?

Не было эсеровской четверицы и объединившихся с ней представителей крестьянских комитетов. Где-то на задворках сарая эта фракция определяла свое отношение к текущему моменту.

— Просили обождать,— сказал писарь.

И еще — подозрительно пропал Левка Беркович с двумя единомышленниками из команды связи.

— К чертям! — поднялся председатель.— И без них начнем. Все одно наша берет.

Он сел на кровать Степы и тихо пошептался.

— Сейчас начнем,— выглянул в кухню писарек.— Зовите всех.

И когда уселись на тесно сдвинутых скамейках делегаты, Семенов начал:

— Товарищи окопники! Одно есть дело, над которым нам не надо долго думать. Это дело о том, пора, или нет, кончать войну. Это дело наше, солдатское, и мы его должны решать сами, без всяких там фракций. У нас тут одна фракция — окопная. Я предлагаю наш чрезвычайный съезд считать открытым.

— Правильно! — захлопали дружно солдаты, сдвигаясь ближе к столу.

Подоспевшая эсеровская фракция с шумом ввалилась на кухню.

— Прошу слова,— на ходу вытягивал руку предводитель фракции, аккуратный красивый солдатик с золотистым

хохолком. На чванно выпяченной грудке его болтались три георгия.

— Какого еще вам слова?—нахмурился сразу председатель.

— Прошу слова к порядку дня.

Семенов наклонил ухо к Степе и сказал неприязненно:

— Порядок дня всем известен, нечего сбивать собрание.

Солдатик с георгиями вышел вперед, подчеркнул что-то карандашом в записной книжке и торопливо выговорил:

— По основному вопросу о заключении мира наша фракция требует содоклада.

— А... не давать,—внятно сказал за спиной Семенова голос Степы.

— Не давать!—откликнулись голоса на скамьях.

— Предлагается слова не давать,—повторил Семенов.—Голосую: кто за?

— Позвольте,—торопливо поднял руку солдатик.—Тогда я прошу слова по мотивам голосования.

Он хитро, торжествующе оглянулся на свой отряд. Золотой хохолок его воинственно встопорщился. Фракция ободряюще загудела.

— Никому слова не даю,—упрямо выговорил Семенов.—Будем голосовать.

Лицо его посерело, глаза нацелились в далекую точку, и твердо, как рога, выставились усы.

Эсеровская фракция вскочила с мест, кухня ответила многоголосым шумом.

— Ти-ша!—падая на стол, брякнул Семенов кулачищами, и все удивленно притихли.

— Тогда,—улучив минуту, заговорил эсеровский предводитель,—тогда мне остается использовать свое последнее право и выступить здесь с внеочередным заявлением. Прошу!

Он обернулся к своим, губы его обиженно сложились сердечком, и хохолок склонился набок.

Семенов пошептался со Степой и сел, угрюмо поводя белками:

— Говори, чорт с тобой!

— Чорт со мной, или с нашим уважаемым председателем,—вкрадчиво заговорил солдатик, снова подчеркивая что-то карандашиком в книжке,—это пускай судит почтенное собрание. Мое же заявление сводится к тому, что

необходимо обеспечить здесь нормальное обсуждение поставленных вопросов. С самого же начала стало ясным, что нам не хотят давать говорить. Где же завоеванная нами свобода слова и собраний? Где демократия?

— Они ж власть! — бесстрастно изрек выглядывавший из кухни Левка.

Солдатик обрадованно качнулся в его сторону:

— Вы со мной согласны? Вот видите! Если дело будет так же итти и дальше, мы будем вынуждены организованно покинуть съезд и подадим телеграмму в высшие организации, что не признаем принятых данным съездом решений законными.

— Ой, испуга-али! — мгновенно вырос из-за спины Семенова встрепанный Степа. — Ой, нам стра-ашно! Ой, пропали наши головушки!..

Он приседал и раскачивался на скамейке, как бы готовясь вспрыгнуть на широкие плечи председателя, и, весело оглядываясь, по-козлиному заверещал:

— Ой, ма-а-ма!..

Собрание всколыхнулось от смеха. Густыми клубами покатился к потолку махорочный дым. На задних скамейках повскакивали.

— Теперь пойдет!

— Степа сейчас их загонит в пузырь.

— Крой их, Степа!

— Нашпоривай!

Сидевшему в дальнем углу Марише невольно передавалось это общее возбуждение. В происшедшей на его глазах короткой стычке он ясно почувствовал отголоски какой-то давней, глухой борьбы непонятных ему сил.

Мариша поднялся с места и с интересом стал разглядывать маленького Степу.

Степа заговорил тихо, презрительно:

— Господа почтенные, которые пришли сюда с егориями на грудях! Вы что думали: сбить вам тут кого удастся на старое? Нет, плохо вы считать учены, хоть и чиркаете карандашиками в книжках. А наша арифметика простая: вас тут от силы десяток наберется, наших остается, значит, десятка три душ. Так что ж вы нас пугать-то начали? Себе для храбрости, что ли? Известно нам и без ваших речей, что вы оборонцы, — ага! — что охота вам оттянуть дело мира до Учредительного собрания, а там либо будет,

либо нет, либо карько, либо гнед. Так мы на это не пойдем, и слушать вас не будем. И сами вас попросим о „повыходя", ежели будете тут нам мешать. Понятно? Я вас об том прямо предупреждаю.

Фракция затихла. Солдатик с георгиями сел на место, зашептался с соседями, возмущенно встряхивая хохолком.

— По первому вопросу, — продолжал Степа, — беру слово я. Только я скажу не от политики, а от жизни, как это было со мной на фронте, в Галиции. Пошли мы раз, три верных товарища, в разведку. И сбившись с пути, зашли мы далеко в тыл противника. Подошли мы так, значит, к деревне, сидим во ржи и смотрим, где что деется. И видим: во садочках девчонки яблоки сымают, и во ржах жатка машается, и на кузне кузнец молотом звякает, — хорошо все слыхать. И девчонки во садочках песняшки играют, вроде совсем наши. А мы сидим во ржах, как воры, конокрады какие-нибудь, с ружьями в руках. Вот тогда я и подумал: товарищи мои дорогие, это кто же такой меня во разбойники-то вписал? И на кой чорт мне надо эта земля? Не надо мне эта земля, работайте!..

Степа перевел дух, и с ним сочувственно вздохнуло все собрание. Лицо Степы закраснелось и помягчело, пропали жесткие скобки вокруг запавшего рта. Степа усмехался своим воспоминаниям, показывая детские голые десны.

— Я и говорю: пойдем, ребята, назад. А куда — назад-то? В окопы? Нет, погоди, может, лучше сдаться ихним мужикам в руки. Вот скинули мы всю военную сбрую, бросили ружья в рожь и по-за кустами пришли в деревню. Во садочек зашли, сшутили с девчонками и испить попросили, товарищ мой по-хохловски балакать мог. Вынесла нам бабушка одна молока: „Кто, — говорит, — такие будете, молодцы?" — „Мы, мол, русские, в плен к вам идем". — „Ой-ёй, — говорит, — бедная ваша доля". — „Почему так?" — Да каждый день, — говорит, — вашего брата из лагеря на погост выносят, гробов не хватает". И заплакала над нами старушка. Поглядели мы тут друг на друга, три верных товарища, покачали головой: надо, мол, скорее смываться отсель. И пошли наобратно в рожь, накинули опять свою военную сбрую. Нет, видно, воевать нам, ребята, до скончания века, — такая наша солдатская доля.

Степа остановился и прислушался. Тихо сидели делегаты, не сводили, как зачарованные, глаз со Степы.

— Я к чему вам про это сказываю? А к тому, что не было нам, солдатам, выхода из войны, кабы не революция. Что̀ мы знали, что̀ понимали? Разве понимали мы, что враг у нас озашей ездит и глаза нам руками зажимает. Что первый наш враг — офицер, мы про это разве знали? Что главный враг у нас же в тылу сидит, — нам про это кто-нибудь говорил? Как слепые котята мы были! А зачем нам была эта война? Кто честно трудится, тот не разбойник, тому война не нужна. Не мы эту грабительскую войну заварили, а буржуи. И вот наше дело теперь — ее остановить. И мы ее остановим! Мы повернем штыки в тыл, на самих буржуев и на всех ихних холуев. Вот тогда мы и добьемся настоящего твердого мира... Товарищи, я кончил. Да здрассс!..

Концовка Степиной речи потерялась в горячих рукоплесканиях. Он медленно осел за спиной Семенова.

— Хорошо сказанул, Степа, — одобрил его председатель. — До всех дошло.

Он поднялся и довольно постучал по столу.

— Ну, как, окопная фракция? Степа тут за всех нас сказал, прибавить нечего. Может, голоснем, а?

— Довольно, кончай!

— На местах обсуждено уж!

— Ставь прямо на голосовку!

За мир подняли руки все, кроме эсеровской четверицы и приставших к ней трех делегатов — „крестьян".

Им подсвистнули.

Закрасневшись, вскинул руку и Мариша. Ему все казалось, что Семенов смотрит на него и подбадривающе кивает.

Солдатик с георгиями взмахнул было собственной резолюцией, но его не стали и слушать. Он положил резолюцию на стол перед Семеновым и только попросил „приобщить к протоколу".

Подконец взял еще слово Левка.

— Наша группа, — сказал он, оглядываясь на двух связистов, — поручила мне заявить, что мы голосовали за предложение комитета о немедленном заключении мира. Подчеркиваю: прин-ци-пи-аль-но. Это не обозначает, что мы признаем комитет как власть. Наоборот, мы его отрицаем, считая, что всякая власть означает урезку народных прав. Там, где начинается власть, там кончается революция. Прошу это заявление группы занести в протокол.

— А, чепуха на постном масле! — раздраженно зашипел на Левку Степа. — Что вам протокол — мусорный ящик, что ли?..

Солдаты Левку уже не слушали. Усевшись вокруг плиты, они развязывали сумки: был обеденный час.

Через полчаса Семенов вызвал к телефону начштаба и сообщил ему решение чрезвычайного съезда.

Разговор был короток и решителен.

— Вы должны явиться в комитет для выработки условий.

Все слушали тихо в комитете, как кричал в трубке подымающийся голос. Как рявкнула подконец трубка: „Молчать!“ И как сказал на это Семенов: „Самому замолчать!“ и бросил трубку.

Потом усмехнулся сбелевшими губами:

— Сволота корниловская! Последний был с тобой разговор!

XIV

В это утро через фронт перелетели два ворона.

Тяжело поборая ветер, они летели наискось, оглядывая линии затихших окопов, и как бы ободряюще перекликались.

Окопники зорко следили за неровным полетом птиц на ветреной высоте. Чутко вслушивались в заунывные их голоса.

Раньше посыпались бы вслед зловещим птицам азартные выстрелы с обеих сторон фронта. Знали окопники: кормится проклятая нечисть не прибранными в лесах солдатскими трупами, потому и живет около фронта.

Теперь эта черная пара была вестницей наступающего мира. Ни одного выстрела не было сделано из русских окопов. Схватившегося за винтовку стрелка тут же осадили:

— Цыть ты! Слухай германа!

Запрокинув голову, все слушали. Над немецкими окопами стояла предупредительная тишина. Вороны, сбиваемые ветром, благополучно снизили к синевшему далеко за фронтом перелеску.

— К добру, — облегченно поправили шапки окопники. — Хоть бы одно ружье выстрелило. А?..

Здесь, где ближе всего сошлись траншеи, разделен-

ные глубокой лощиной, где особо упорными были последние июльские бои,—в стыке двух дивизионных участков была назначена на сегодня встреча.

Еще задолго до назначенного часа к ближней рощице подкатил серый генеральский автомобиль, и один за другим исчезли делегаты в кривой щели ходов сообщения. Следом за ними, посвечивая в земле медью труб, пробиралась музыкантская команда.

Делегаты сгрудились в пулеметном гнезде. В узкие продольные щели бойниц смотрели в сторону немца. Близко под окнами ветер гнал мимо некошеные засохшие травы. И было тихо на фронте, каждый слышал взволнованное дыхание своего соседа.

Председатель комитета Семенов часто взглядывал на часы. Лицо его стало заливать серостью, заходили скулы.

— Так,—сказал он, пряча часы в кармашек.

И выглянул из-под навеса:

— Эй, кто там! Станови знамя!

Высокий солдат, жердеобразно качнувшись туловищем, легко взлетел на бруствер и выпрямился; с шорохом отвалилась от толчка сырая глина приступка.

Солдату подали свернутое знамя; он оглянулся по сторонам—огромно уходящий в высь великан,—потом неторопливо поплевал в горсть и сильным тычком всадил шест в бруствер. Оглянулся еще раз и стал бережно развертывать плат.

Ветер подхватил легкую кумачевую ткань и понес. Как бы трепет легких крыл заплескался с серого неба в окопную яму. И тут же горнист поднял к небу сигнальный рожок и певуче заиграл встречу. Серебряные звуки округло покатились в лощине.

— Пошли!—сказал хрипло Семенов, и все увидели его вдруг обесцветившиеся глаза.

Сбившиеся толпой окопники услужливо подсаживали делегатов, подставляя ладони под залипшие глиной сапоги.

— Семенов, поддержись!—услышал председатель вслед себе напутственный шопот кого-то из окопников.

Одновременно, в этот условленный парламентерами час, перескочили стенку окопов и немцы. С высокого бруствера Семенов сразу заметил солдат, стоящих напротив, высоко над краем лощины.

Обе делегации мерно и неторопливо, ровным военным

шагом пошли за проволоку, навстречу, — туда, на смертный участок, где ворошился на ветру остриженный пулеметами молодой березняк.

Долго пробирались в запутанном лабиринте колючей проволоки, прошли через вскопанный снарядами бугор, за ним обогнули забитый землей окопчик, где разрушенный артиллерией накатник высоко выставил из земли сломанные ребра бревен, где глина на срезе сочилась бурой сукровицей.

В последнем бою здесь погибла горсточка обманутых храбрецов, из них не вернулся никто.

— Вася! — вдруг вскрикнул один из делегатов в мятой вахлачной шинеленке, остановившись над торчавшими из земли сапогами.

Вася лежал, крепко приникнув лицом к земле, только на ветру трепыхался выбившийся из-под фуражки соломенный вихор его.

От дождей и солнца побелела шинель на выставившихся лопатках, и, казалось, проросла уже шинель мертвеца тонкими нитями трав, как бы пришиты были к земле раскинутые полы белыми жадными корешками.

— Но, вы-ы! — зарычал Семенов на остановившихся перед неприглядным зрелищем смерти делегатов.

Он шагал впереди, бледный и разъяренный, круто выставив вперед рогатку усов.

Идущие позади слышали его грозное бормотание:

— В-васю они увидели!.. В-вася им тут занадобился!

Делегаты вышли в открытую лощину. Огромной казалась им снизу пустота лощины, казалось, идут они, сопротивляясь резкому сырому ветру, в ложе могучей реки, где-то близко остановленной на короткие сроки. И неуверенно озирались идущие на высокие берега, — не обвалилась бы на горсточку затерянных людей притаившаяся стихия.

Внизу, на видимой с обеих сторон площадке, обе делегации одновременно остановились и одновременно же взяли под козырек. И сотни человеческих голов жадно вытянулись из земляных щелей с той и другой стороны. И напряженной стала тишина в лощине.

В короткую минуту успели делегаты оглядеть друг друга. И было для всех неожиданно, что с немцами пришел

лейтенант, высокий, подтянутый и щеголеватый — даже в окопах, где офицер всегда старается походить на солдата.

„Штабной", — подумал Семенов.

Лейтенант не мог не заметить этих косых взглядов и, быстро шагнув вперед, с любезной усмешкой протянул портсигар Семенову. Тот взял плоскую турецкую сигарету, смущенно повертел ее и заложил за ухо.

Мариша заметил, что ни у кого из сошедшихся не было при себе оружия. Даже лейтенант пришел с безобидным стэком подмышкой.

Он поочередно оглядел всех пришедших с русской стороны и поманил к себе Левку. Мариша видел, что Левка усиленно показывает почему-то на него.

— В чем дело? — спросил Семенов.

— Господин офицер спрашивает, есть ли здесь представитель командования, — подойдя, козырнул Семенову Левка.

И махнул Марише рукой. Мариша, сразу смешавшись, выступил вперед. Под знобящим ветром стоял он, стеснительно ощущая на оцарапанной в ночном приключении шее тугие бинты.

Лейтенант уставил на него пустые глаза и издали неуверенно прикоснулся к козырьку. Представитель командования показался ему слишком юным. Притом же погоны вольноопределяющегося, окаймленные витым шнурком, видимо, были ему известны. Впрочем, лейтенант сразу принял безразличный вид, а Мариша незаметно отступил за солдатские спины.

— Начинай, — подталкивали Семенова сзади.

Семенов отставил вперед ногу и начал, трудно и громко дыша:

— Товарищи германцы! В России нет больше царской власти. Старый режим прикончен. Эта война была нужна царю и капиталистам... да... (Семенов покосился на лейтенанта) и офицерам... а нам она не нужна. Так не будем мы больше истощать друг друга.

Переводил Левка Беркович. Он вытягивал худую шею и, вдохновенно сверкая глазами, сдабривал скупую речь председателя словечками, заимствованными в командировке из речей минских ораторов.

— Товарищи! — продолжал Семенов. — Сколь побито, поранено! Эту ямину вон по тот край можно налить кровью, кабы всю собрать. Рекой пойдет. А за что?..

Дул в лощине острый, холодный ветер, усатые блеклые травы приникали под его тяжестью низко к земле. И зябко непроницаемы, казалось, были лица немцев. Высок и бесстрастен стоял офицер.

Мариша вспомнил далекие — в круглой рамке бинокля — картины: над этими холмами вставали белые, скрюченные призраки войны и черные кусты разрывов густо лохматились по взгорью.

Он окинул глазом холодные, угрюмые тучи, теснившиеся в высоте: где-то там, за ними, невидимым пунктиром чертили свой смертоносный полет миллионы снарядов. Что, если бы можно было материализовать все это сплетение траекторных нитей? Какой тяжкий железный шатер упал бы на головы, накрыл бы всю лощину! Тогда, может быть, поняли бы, очнулись бы.

Мариша прислушался к словам Семенова, посмотрел на плотную стенку немцев и тревожно подумал: „Поймут ли? Вот где нужны были бы „очищенные“ слова прапорщика Вильде“.

Семенов исподлобья взглядывал на немцев, — трудно было понять их твердые, нерусские лица.

И стал горячее от этого Семенов, будто скрытое раздражение поднимало его голос все выше:

— Товарищи! Докуда будем лить кровь ни за что и гнить в окопах? Не пора ли нам воткнуть штыки в землю? Не пора ли всем сказать: „Мир — хижинам, война — дворцам“?..

Дрожащей рукой нащупал тут Семенов на поясе короткий ножевый штык с японской винтовки и сразмаху всадил его меж расставленных ног в землю.

Было видно по лезвию — мирным целям служил этот штык: весь зарос он хлебным мякишем и желтой замазкой белорусского кислого сыра.

Махнул по этому штыку Семенов — вдоль по лощине.

— Товарищи, клянемся никогда через эту линию больше не переступать. Ни взад, ни вперед. Глядите все: вон наверху, на бруствере, что вы видите? Красный флаг! То есть наше знамя. И кто на это знамя пойдет, тот есть враг рабочих и крестьян. Понятно?

Опять долго и вдохновенно переводил председателя Левка, но, кажется, теперь его поняли и так: вдруг по-

добрели тусклые, иззябшие лица немцев, и глаза их стали уважительно разглядывать плечистую фигуру Семенова.

Тут же вышел от них тяжелой перевалкой коротконогий увалень с ярким шрамом вдоль щеки. Увалень сказал, что он рабочий из Вестфалии, социал-демократ, что он пошел воевать против России из боязни, что победа русского царя бросит мрачную тень угнетения на всю Европу.

Мариша посмотрел на рдеющий рубец на щеке оратора, на красные большие ручищи, засунутые одними пальцами в тесные кармашки мундира на короткие свихнутые в коленях ноги и подумал с уважением: пролетарий. Мариша как бы примеривал это новое для себя слово на крепыше-германце.

Грубым, как бы сердитым голосом говорил оратор. Левка переводил фразу за фразой. Солдаты слушали молча.

Лейтенант рассеянно обводил глазами высокие края лощины, вскопанные по местам гвоздившей артиллерией.

На бугре взгромоздились оттащенные на сторону ротатки проволочных заграждений. Они уродливо рисовались вскинутыми к небу сочленениями, как пожирающие друг друга пауки.

Тут же голенасто вышагивал прапорщик Вильде, расставляя треногу фотоаппарата.

Вдруг лейтенант тревожно вскинул нос и, нацелив стэк куда-то вверх, пошел вперед.

Сразу осекся оратор. Все смотрели вслед лейтенанту и ничего не могли понять. Он шел, не сводя глаз с горы, и выкрикивая на ходу одну короткую фразу.

Левка перевел:

— Это предусмотрено условиями.

Не сразу поняли, что стэк лейтенанта был уставлен на прапорщика Вильде, только что нырнувшего под черную накидку фотоаппарата.

— Какого он там чорта? — нетерпеливо оглянулся Семенов на размахивавшего стэком лейтенанта.

— Воспрещается снимать за проволокой, — вполголоса напомнил Левка заключенное накануне условие.

— А ну их!..

Прапорщик Вильде, заметив внизу встревоженного лейтенанта, неторопливо подхватил треногу аппарата на плечо и, раскачивая корпусом, двинулся в гору.

Лейтенант выждал, пока долговязая его фигура потеря-

лась за гребнем бруствера, и, успокоенный, вернулся на место. Он плотно сомкнул прямые ноги, подбросил стэк подмышку и кивнул оратору:

— Продолжайте.

Оратор стоял с перекошенным ртом, сизый от гнева. Он начал не сразу. Не подымая глаз от земли, заговорил он угрюмым, неподатливым голосом, как бы с трудом выталкивая слова. Только постепенно голос его стал набирать прежнюю силу.

И показывал немец заскорузлым пальцем туда, наверх, где на высоком бруствере русских окопов яростно метался огненный плат знамени.

Голос немца, хриплый и лающий, гулко звучал в лощине. Ветер срывал с губ эти чужие слова и уносил далеко. И сам он, крепко расставивший кованые башмаки, весь дрожал сейчас от внутренних усилий, как огромный котел под паром.

Он говорил о том, что с Россией-республикой он воевать не хочет и не будет, что об этом то же самое говорят все солдаты в германских окопах.

Всем рядом немцы откликнулись согласно:

— Рихтиг.

Левка перевел, сияя довольством:

— Камерад спрашивает их: верно, ребята? И они все отвечают: правильно!

Все поняли это еще до того, как Левка начал переводить.

И как-то само собой вышло, что немец тесно сблизился с Семеновым, — они вдруг раскрыли руки и, сшибаясь крепко и надолго обнялись и расцеловались.

— Русски карашо, — сказал немец, одобрительно пошатывая высокие, крепкие плечи Семенова.

Семенов смущенно усмехался, придерживая его под тяжелые локти.

Постояли так, держа друг друга, и поцеловались еще раз.

Делегаты сошлись и протянули руки. Запутались в десятке скрестившихся рук и дружелюбно усмехались, заглядывая в глаза.

— Мир, — говорили русские.

И немцы охотно повторяли это известное им слово:

— Мир! Мир!..

В ту же минуту неистовые крики полились из траншей

в лощину, и медные звуки „Марсельезы“ донес ветер из русских окопов.

Делегаты растерянно оглядывали неприступные высоты позиций. В разрывах музыки доносило вниз одну долгую ноту: „Э-э-э-э...“

Вспугнутыми галочьими стаями взлетали из траншей в небо и оседали вновь солдатские шапки.

На бруствер к знамени вспрыгнул опять высокий солдат. Раскачиваемый ветром, он несуразно размахивал руками и кричал что-то неслышное.

С обеих сторон лощины выбрались из земляных щелей окопники. Накапливались толпами над краями оврага.

„Э-э-э-э...“ — плыла сверху тягучая нота.

Потрясенный этой минутой, один из русских делегатов, в измятой вахлачной шинеленке (это он по дороге сюда вскрикнул звенящим голосом: „Вася!“), отвернулся на сторону и страстно, навзрыд заплакал, уткнувшись в рукав себе.

О чем плакал этот бедный солдат? О мертвецах ли, которые истлевают в безвестных могилах, или просто от великой человеческой усталости?.. Холодными, непонимающими глазами смотрел на его прыгавшие плечи лейтенант.

А немецкие солдаты понурились и разбрелись — смешные в своих кургузых с разрезом сзади мундирчиках.

Мариша отвернулся, чувствуя в горле тугой ком готового прорваться рыданья. Он услышал всхлипы своего стесненного дыхания и с усилием откашлялся. Сквозь стеклянную, вздрагивающую муть еле различимыми, тусклыми пятнами возникали перед ним лица.

Мир был подписан.

Окопники качали Семенова. Они дружно вскрикивали „Пошел!“, и десятки рук выбрасывали председателя над окопной ямой. Он взлетал на воздух, держа руки по швам, прямой и строгий, как в строю.

Мариша спрыгнул в окоп, переполненный возбужденной солдатской толпой.

— Ну что? Ну, как там? — наперебой спрашивали его.

Прапорщик Вильде протиснулся к нему, жал руку и заглядывал в глаза.

Как бы издали слышал Мариша его голос:

— Вы счастливец... величайшие минуты... удалось отлично... получите этот исторический снимок...

И еще спрашивал о чем-то, стискивая локоть:

— Верно, ведь? Правда?

Мариша ответил не сразу. Нервный озноб сотрясал его плечи. Он с усилием развел челюсти, усмехнулся чужими, непослушными губами и выговорил:

— Ужасно... все... просто...

XV

Штабные холуи Япошка и Наполеошка любили посидеть в комитетской кухне, послушать разговоры.

Они тихонько присаживались где-либо в углу, за спинами спорщиков и сидели молча.

Несло от плиты жарким духом, щеки спорщиков наливались и розовели, как бы смазанные сгоряча медом. Черное небо колпака жадно засасывало махорочные волны.

Нестесненной лилась здесь солдатская речь, обильно сдобренная едучей окопной „математикой“, зачастую прорываясь густым хохотом.

Особенно любили Япошка и Наполеошка послушать о том, как сибирский мужичонко Гришка Распутин в царский дворец пробрался и как он там царицей Сашкой командовал. Хлебом не корми, дай послушать.

Заводились такие разговоры обыкновенно под вечер, в те часы, пока еще не хотелось никому зажигать мутную мигалку в простенке, когда за окнами медленно накаплива-лась синева сумерек.

Были на кухне свои заводилы-балагурщики, навострившие язык в бездельном окопном сиденьи за годы войны.

Рыжевихрастый комитетский вестовой Тюха прочел будто бы на побывке секретную книгу „Тайны дома Романовых“. Со слов Тюхи и пошли гулять по всей дивизии веселейшие рассказы про слабоумного царишку и хитреца Гришку.

Как только присаживался Тюха к плите, его сразу начинали подбивать:

— Ну, заводи пластинку!

— Заливай!

— Навертывай!

Тюха подвигал на багрово раскаленную середину плиты свой котелок и оглядывался:

— Не сказывал про то, как царица Сашка купила Гришеньке рубашку?

— Вали, вали! — одобрительно сдвигались слушатели.

— Даешь!

— Ну, вот. Раз купила царица Сашка Грише шелкову рубашку и стала вышивать своеручно. Прошла вороток, взялась за подол. По вороту цветочки, по подолу лепесточки. Ну, прелесть! А на поясе молитву выметала: „Отче Григорие, моли бога о нас".

Тюха, не торопясь, посыпал в котелок соли и помешал. Холуи уж нетерпеливо вскакивали в своем углу.

— Ладно. Вот пошел раз Гриша, куда сам царь пешком ходит.

— До ветру, — нечаянно вырвалось у Япошки.

Тюха приостановился.

— Ну и дура! Это ты бегаешь в поле до ветру, а у царя на это есть обзолоченный кабинет.

— Ишь, буржуй, — сказал кто-то.

— Да, и заходит потом в этот кабинет сам царь. Глядит — поясок лежит. Вызывает он главного министра: „Узнай, что за вещь, и выяснить, кто потерял!" А министр увидел молитву и говорит: „Это по духовному ведомству надо, святеющему синоду". Поглядели отцы архиереи на тот поясок, погадали меж собой: „Не иначе говорят, как чудо тут явлено". И постановили тот поясок отдать в главный собор и отслужить всенародный молебен. Приехали на тот молебен сам царь с царицей и все духовенство-чиновенство. Помолились, как следует, а после пошли прикладываться к поясу. Подконец подходит и наш Гриша...

Тюха отпробовал из котелка и посолил опять.

— Что-то насолить сегодня не могу, — самодовольно усмехнулся он, оглядываясь вокруг.

— Заливай дале! — заерзали слушатели.

— Вот рыжий бес!

— Да, перекрестился Гриша, потом как цапнет поясок: „Мой, — говорит. — Что вы, господа? У меня без него всю неделю порты спадывают". Все!

От разорвавшегося хохота, казалось, заходил на цепях черный колпак под потолком. И долго еще одобряли после слушатели Тюху.

— Ах ты, Тюха, ты Тюха!

— Вот так рыжик!

— Энтот знает сказать.
— Само собой!..
— Ну, Тюха, поехали дале?
Тюха взялся за котелок:
— Пускай другой кто.
Стали подбивать других:
— Ну, заводи следующий, кто там?
— Э, слабина берет!
— Супротив рыжика никому не сдюжать.
И тут выступил из дальнего угла бородатый папашка-ополченец:
— Дозвольте, молодежь, мне слово сказать.
Появился он на кухне — приметили — с утра, с большой котомкой за плечами, похожий на странника. Привычные к людской толчее комитетчики не спросили, откуда он взялся. Весь день он просидел втихомолку, не ввязываясь в разговоры.
— Вали, вали, папаша! — заинтересовались солдаты.
— Давай из божественного посмешнее.
— Соври чего-нибудь.
Папашка обиделся:
— Это вам другие пускай соврут, а коли правду слушать неохота, я и не стану.
— Ладно, заканючил!
— Взялся, а потом его и нет!
— Крути, отец, крути!
— Послухаем...
— Я так думаю, молодежь, — важно огляделся папашка, поглаживая бороду, — что не следует нам над Григорием-то зубы скалить. Наш он был, хрестьянский защитник, за то его и извели. Вы того не знали?
— О-о-о!
— Гришка-то?
— Ну-ну-ну! — замахали слушатели.
— Не нукай, — с задором огляделся папашка, — не поехали еще. А сказывал мне про то не враль какой, а человек, который при дворце служил. Послушайте-ка меня, молодежь.
Папашка обмахнул волосы, откашлялся и начал нараспев, как привычный сказочник:
— Слушай — послушай, не то по лбу баклушей; за что куплено, за то и продано, а мы не в ответе. Вот пришел раз

в Питер серый мужичок, не ближний — сибирячок. Во дороге он шибко прохудился, пришлось ему в Питере Христа ради просить. Ходил-ходил, только видит — за имя божие в городе копейки никто не подает. Ходил мужичок цельный день, а без пристаница остался. „Пойду, говорит, я к русскому царю, пожалуюся: какая-то неправильность в городе ведется". Пришел он ко дворцу и стал на парадном. Царь в то время был на хронти, и послала царица узнать: „Что стоите, мужичок, на нашем парадном?" — „Вашества, говорит, я верный верноподданный, через всю Расею пехом прошел, много слов имею вам высказать". Интересно. Допустила она его во дворец: „Все сказывай, как есть". А мужичок хитрый был, слыхал, что царица-то из немок и к своим будто приправляет. Он и говорит: „Вашество, народ на царя за войну шибко обижается, будет ли, нет ли конец-то?" Царице это, как по маслу. „Дай, говорит, божий человек, свезу тебя на хронт, скажи ты об том Миколаю Второму". И пошла с того дня во дворце растыка: одни за царицу, другие — за царя. А у мужичка с царицей пошла дружба. Ну, может, и было оно что у них, — известно ведь, что у царицы, то и у пономарицы, тем более муж на хронти. Да, а как сдумали они к царю ехать, тут военны генералы и забоялись: собьет, мол, государя нашего. „Надо, говорят, его почем хошь сжить". Вот и извели. Вином напоили, в грудь стрелили, в чорну карету посадили, а потом прямо с моста да в прорубь скинули... За наш серой хрестьянской народ экую злую кончину человек принял. А вы — Гришка да Гришка! Да, может, верно, ему петь надо: „Преподобне отче Григорие", а не обсмеивать по-глупому.

— То он и был? — вскочил Япошка.

— А кто еще! Он, свята русская душа, Григорий Ефимович. Вот оно как, дружочки!..

— Складно сплел, отец, — сказал рыжий заводила, — да кто тебе поверит? Ты хоть газеты читал?

— И не стану! — поднялся папашка. — Выдумали это все нонешние власти. Им, брат, тоже война надо. Не верю ни одному слову. Правда-то, она из уха в ухо идет. Завсегда так.

Папашка выставил бороду и, не торопясь, стал застегивать крючки на вороте. Солдаты молча следили, как он подвязал к поясу жестяную кружку и закинул за спину тяжелую котомку.

— Вот я и готов.

— Посиди, папашка: под дождь идешь.

— Не сахарные! Прощайте-ка, молодежь!..

Папашка деревянно ткнул горстью под козырек и вышел.

— Домой пробирается, — заметил кто-то. — Ночи дожидался тут у нас. Ишь, хитрый, по-темному идет!

Разговоры на этом иссякли. Было уже темно в комитете. Глухо урчал на плите немецкий чайник.

Незаметно в размаривающем тепле около плиты завелась сонная казачья песня:

За Уралом, за рекой,
Конь гулял на воле.
Э-э, эй-эй!..

Кто-то полез в простенок, зажег лампочку.

— А все ж таки, — сказал рыжий заводила, — наврал нам тут старик про Гришку-то. Кабы правда была, уж знали бы.

— А ты почем знашь, где правда-то? — высунулся Наполеошка. — Нешто она клейменая?

— Это кто ж там такой закукарекал? — вытянул шею заводила. — А, это ты, ваше превосходительство. Какие у тебя в штабе новости? Когда нам в наступление иттить?..

На кухне любили задирать безобидных холуев, навалившись на них дружно всем гамузом.

— А ну, папашка, становись Наполеоном.

Стоять Наполеоном выучил денщика в веселую минуту начштаба. Папашка при этом выпячивал круглое мужичье брюхо вперед, отставлял ногу и закладывал прямую ладонь за отворот шинели, лицо его становилось хмуро-старательным.

— Ну что? Перед офицерами там стоишь, а тут, небось, перед людьми совестно?

Наполеошка стесненно сопел, оглядывая исподлобья обидчиков, и не двигался с места.

— Эх вы, холуи се-ерые!

— Ишь, отвернулись! Небось, там генеральские горшки выносят, носы воротить не смеют.

Выручил на этот раз холуев сам председатель Семенов; проходил он через кухню, прислушался.

— Будет вам шпынять их.

И кликнул холуев:

— Эй, вы, ко мне! На носках!..

Заперся с ними в комитете и нехотя будто бы осведомился:

— Ну, как там ваши бары?

Рассказывали холуи наперебой, что генерал все бегает зайчиком по саду, а начштаба у себя в кабинете сидит, а что делает — неведомо.

— А третьеводни, — припоминал Япошка, — поручик Гедеонов привезли с базы вина два ящика.

— Так, выпили, значит, господа офицеры?

— Полковник с собой унесли цельных три бутылки в парк.

— Ишь ты как!

— Только они сами не пьют.

— Так на лешего ты мне такие пустяки сказываешь? — рассердился председатель, — Вот ты ду...

— Значится, кому-то отдали там, — торопился досказать Япошка.

— Да, может, сам выпил?

— Не! Трезвые пришли. Наезжал кто-то, в задах след видать.

— Так, так. Вон что! — повесил Семенов голову, соображая. — Ну, вот что, други, гляди там в оба. А чуть что заметили там, на носках сюда. Понятно?

— Так точно.

— Да смотри у меня — не трепаться! Не то...

Председатель поочередно тыкал перед заморгавшими холуями огромным кулачищем.

XVI

Маленький неугомонный червячок все точит и точит свой ход где-то в глубине десен; от этого ломит в висках, и тонкая боль уколами иголки отзывается в сердце.

Мается бессонной ночью Степа Колобашкин на своей койке, попеременно прикладывает щеки к горячей стенке печи.

Балтийские ветры заунывными голосами поют в трубе, чутко вслушивается Степа в протяжные, то взмывающие, то опадающие их распевы.

Точно идут мимо, наплывая из тьмы безликими, серыми рядами, тревожно-торопливые колонны. Мешаются знако-

мые песни, — их все певал когда-то Степа в далеких трудных переходах.

Первым запевалой в полку был Петруша Фибра, за ним шел Степа. Голосок у Петруши был тонкий, натужный, с заливчиком, ажно проступали на шее жилы веревками и лезли на лоб глаза. А Степа брал молодой, задорной звонкостью, — слышно было его в самом хвосте растянувшейся колонны, наравне с пронзительными свистунами.

Бывало, душит скатка, оттягивает плечи походная выкладка, мешаются сбоку противогаз и фляжка, хлопает по ноге „шанцевый инструмент", — еле дыша, идет полк. Пот щекотно бежит за ворот, взмокает спина, аж соль выступает белыми разводами по рубахе. А до привала еще далеко.

И тут останавливает на повороте гнедую кобылу командир полка. Он пропускает мимо взвод за взводом, всматривается сверху тусклыми, изучающими глазами в мелькающие хмурые лица.

А через минуту перелетает над ротами команда:

— Песельники, вперед!

Взводные торопливо начинают подсчитывать ногу, запевалы прибираются в ряды твердеет шаг.

— Начинай! Ать-два!

И слышно уже перекатывающуюся серебряную горошинку в голосе Петруши Фибры, один за другим пристают голоса, и свистуны закладывают в рот пальцы.

Мешаются в колонне песни.

На возмо-орье мы стояли,
На германском бе-ре-гу.
Да на возмо-орье мы смотрели,
Как волнует-ся вол-на...
. . . . . .
Последний, нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья-а...

— Ать-два! — топчется впереди, подвигаясь задом наперед, батальонный. — Всем петь! Ать-два!

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать,
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять...
. . . . . .
Чубарики-чупчики,
Ка-ли-на!

— Не спа-ать! — озирается ротный. — Выше головы!..

Горные вершины,
Я вас вижу вновь,
Карпатские долины,
Кладбище удальцов.

. . . . . .

Заплачет вся моя семья-а...

. . . . . .

Весь изра-анен-ный, избитый, чуть живой,
Голова его покрыта сединой,
Го-ло-ва е-го по-кры-та се-ди-ной.

. . . . . .

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой,
Ты добычи не дождешься,
Я солдат еще живой.

. . . . . .

Еще заплачет дорогая-а...

. . . . . .

— Сменить ногу! Заводи веселую!..

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены — ружья заряжены,
Вот где наши жены.

. . . . . .

Мы наде-э-ем-ся на бога
И на ру-у-у-ус-ский сталь-ной штык,
Русский шты-ык че-ты-рех-гра-а-ан-ный...

. . . . . .

С которой три года я жил...

. . . . . .

Тягучие, навзрыдные песни военных походов возникают в ушах одна за другой. Напрасно прячет Степа голову под подушку: нет от них избавленья.

— Колобашкин, не сдавай, — маячит впереди потное, рассерженное лицо ротного, — он наклоняется и заглядывает в рот каждому, все ли поют, ловит глазами.

„Ведь ты ж убит давно, — удивляется Степа, — кости твои, поди, давно уж сгнили, чего ж ты мне вспомнился?..“

Лоснящееся лицо ротного мутнеет, отдаляется, тает.

„Так это выходит, они песней нам рот затыкали! — приходит теперь в голову Степе простая догадка. — Уй, хитрые! Было чего стараться нам, дуракам...“

Вспоминает Степа, как говаривал ротный:

— Который поец, тот и боец. У меня в роте нету безголосых, понял? Все должны петь, понял?..

Понял, вот только сейчас понял Степа, зачем все это было нужно.

„Будьте вы все прокляты!“ — вздохнув, садится Степа. Тихо в комитете. Еле различимо сереют в темноте оконные квадраты. От стола несет вонючей кислятиной шапирографа. Посапывает во сне Семенов. Поют в трубе ветры.

Так долго сидит в оцепенении Степа, прислушиваясь к возне крыс за кухонной плитой, к ровному дыханию спящих.

Утро еще, видать, не близко...

Осторожный стук в стекло привел его в себя.

— Кто там? — вскинулся на своей койке Семенов.

Натыкаясь на скамейки, пробрался Степа к окну и чиркнул спичкой.

Из тьмы глянули на него усердно подмигивающие Япошка и Наполеошка.

И когда открыл им дверь Степа, зашептали холуи наперегонки:

— Что-нибудь да есть. Слышьте, что было сейчас. Полковник вышли на заднее крыльцо, а там уж лошадь стояла под седлом и при ней племянник ихний, Мариев. Пошептались они, потом поцеловались, и Мариев сразу уехали. Что-нибудь да есть.

— Может, за вином его угнали? — зевнул Семенов, нащупывая в темноте спички.

— Нету! — обиженно зачмокали холуи. — За каким вином, коли вчера полковник приказали принести с цейхгауза солдатскую шинель, самую простую, а Мариев ее все примеряли, да в ней и уехали. Да еще повар вчера запекал окорок, тоже с собой увезли. Что-нибудь да есть.

— Простая вещь, — сказал не подававший до этого голоса Левка Беркович.

Он сразу сел и шаркнул по полу шлепанцами.

— Чорт меня побирай, дело тут не совсем чисто. Чест-

ным людям полагается ночью спать, а не шляться где-либо с юкороками подмышкой.

— Простая вещь! — засмеялись в один голос холуи, невидимые в темноте.

Семенов закурил, зажав огонечек спички в горсти. Холуи удивленно уставились на возникшее из тьмы незнакомое лицо: пышные усы председателя были плотно примяты к щекам ночным бинтом.

— Надо будет его догнать, — шумно выпустил дым председатель. — Левка, наряди двоих, сам будешь за старшего.

На кухне проснулись. Зашлепали босыми ногами солдаты. Звякнула заслонка плиты. Кто-то ломал сухую лучину для растопки.

И Левкин голос назойливо зудил в ушах, сгоняя сон:

— Ребята, ребята! Поехали, поехали! Эй, эй!

Он крепко притопывал, натягивая туго налезавший сапог.

Сонно сопя, стали одеваться солдаты. А холуи побежали седлать лошадей.

— И я поеду с ними, — вздохнул Степа, — что-то сон не идет совсем.

— Что ж... как хочешь, Степа... Только не простуди... зубы... — уже засыпая, вяло выговорил Семенов.

Сквозь сон слышал он, как скомандовал нараспев Левка:

— По ко-ням!

И слышал еще, как мягко прошли под окном придерживаемые лошади.

Мариша не ожидал погони. Его давно уже поглотил объятый тьмой и сыростью лес.

Покачиваясь в новеньком, славно скрипевшем кожей седле („Лошадь сдашь в обозе, седло возьми на память", — сказал на прощанье начштаба), Мариша начал задремывать, благодарно чувствуя, как осторожно нащупывает его кобылка краешек вязкой, разломанной гати.

Скоро, пожалуй, начнет светать.

В лицо Марише понесло мелкой изморосью, небо казалось низким, набухшим влагой.

Лес был темен и тих. В редких просветах напряженный глаз различал по сторонам высокие обезглавленные колонны сосен, будто сотни фабричных труб мертво подня-

лись из бурелома. В последних боях нащупывал здесь противник скрытую батарею.

Но уходила назад мрачная фантастика пейзажа, лес смыкался снова черной стеной.

Судьбы фронта не тревожили больше Маришу, думал он о близкой Москве, о тесной квартирке на зеленых Самотеках, о веселых сестренках: интересно, кто у них теперь новые подруги?..

Даже не насторожился Мариша, услышав позади дробный конский топот, — мало ли кто может ехать в ночную пору по прифронтовым дорогам.

Но когда всадники поровнялись, один из них круто подъехал к Марише, надавив стременем его ногу.

Подъехавший сказал грозно:

— Стойте, гражданин!

От неожиданности Мариша уронил повод, лошадь остановилась.

Всадники стали наперерез. Желтый глазок фонаря закачался, поднятый высоко.

— Кто вы такие? — залепетал Мариша, щурясь на фонарь.

— Кто мы? — блеснул великолепной улыбкой выехавший из темноты Левка. — Не бойтесь, мы не рыцари большой дороги.

— Что же вам надо? — спросил, оправляясь, Мариша.

— И нам нет дела до вашего кошелька, — продолжал чеканить Левка.

— Что же вы хотите? — все уклонялся Мариша от назойливо уставленного фонаря.

— Именем революции, — начал торжественно Левка, — отвечайте на мои вопросы: куда и зачем вы едете?

— Не понимаю, — смущенно пожал плечами Мариша. — Я еду домой.

— Вам не удастся нас обмануть, — возвысил голос Левка. — Сознавайтесь, куда и зачем вы едете?

— Мне не в чем сознаваться, — сказал Мариша, — я еду в отпуск, к матери в Москву.

Левка долго пронизывал его глазами.

— Честное слово свободного гражданина?

— Честное слово, — покривил губы Мариша, не выговорив столь длинной и непривычной клятвы.

— Надо его обыскать, — засипел в стороне простуженный голос Степы. — Чего разговаривать!

В темноте произошло перемещение фигур: Левка резко повернул на голос, только блеснул в свете фонаря круглый лошадиный зад.

Фонарь попрежнему видел во тьме, не сводя с Мариши желто-маслянистого взгляда.

Мариша слышал в стороне яростный шопот двоих, и нутро его заныло мелкой, томительной дрожью: неужели будут обыскивать?

„В случае чего — бросай", — вспомнил Мариша наказ начштаба.

Он осторожно нащупал в кармане шинели сунутую дядей гильзу и незаметно спустил ее под брюхо лошади в дорожную грязь.

Левка подъехал снова. Брови его разгневанно извивались пиявицами, и зло скалились зубы.

— Мы не жандармы, да! — кричал Марише Левка, точно убеждая в этом кого-то другого. — Мы не обыскиваем. Мы верим в честное слово гражданина. Да!.. — И добавил уже успокоенно: — Вы можете ехать дальше, гражданин.

Мариша неуверенно двинулся мимо застывших всадников. Глазок фонаря осветил его спину и отвернулся. Застучал под копытами настил гати.

Нелепое это происшествие развеселило Маришу. Пробираясь осторожной ступью по краешку гати, он вспоминал напыщенные фразы Левки и весело пофыркивал. И вместе с ним благодушно пофыркивала его кобылка.

„Надо, однако, разыскать гильзу", — повернул обратно лошадь Мариша.

Он медленно продвигался по дороге и, свесившись с седла, чиркал спичкой.

На повороте Марише вновь почудился лошадиный топот. С какой только стороны? Мариша оглянулся и тут же заметил качающийся желтый глазок фонаря.

Он подхлестнул кобылку. Сиплый голос крикнул: „Стой!", и Марише почудился прокатившийся по лесу выстрел.

Двое подъехавших схватили Маришу под локти, в лицо ему опять уставился фонарь.

— Убери руку! — сурово сказал один из всадников и отцепил с пояса Мариши никелевый наган, любимую игрушку, дядин подарок.

— Подыми руки! — скомандовал еще, и быстрые цепкие пальцы пробежали по груди, забираясь под шинель.

— Не обыскивайте меня, — попросил Мариша, — у меня ничего нет. Я вам сейчас скажу все. Бумаги я выбросил. Они заделаны в пустую гильзу. Вот тут ищите.

Посвечивая фонариком, всадники двинулись назад по краю гати.

— Вот она, — показал Мариша на медную гильзу, мутно светлевшую в дорожной грязи.

— Так, — сказал довольный голос. — Еще что есть?

— Больше ничего.

— А тут что? — рука крепко ухватилась за притороченный к седлу, зашитый в холстину окорок.

— Это... ветчина, — смутился Мариша. — Везу в подарок матери.

— Вон как! — возмущенно засипел голос Степы. — На фронте голод, а они подарки отсюда увозят. Ишь ты, пащенок!..

Фонарик погас. И в сомкнувшейся тьме на затылок Мариши упала легкая, почти невесомая затрещина.

Мариша почти не чувствовал удара и с удивлением поправил сбитую на глаза фуражку.

Отъехав было, всадник повернул лошадь, и та же легкая рука еще раз ударила Маришу. Удар был опять нечувствителен и даже рассмешил Маришу своим детским бессилием.

Но когда заглох за поворотом стук копыт, Мариша досадливо рванулся в седле:

„И зачем было дяде впутывать меня в свои дела? Чем я заслужил эти оскорбления?..“

И в горле комом стала обида.

XVII

Жуткие, безветреные ночи текли над фронтом, — без огней, без звуков. Над болотами, в полях, в перелесках, по дорогам бродили гнилые туманы, цеплялись за кусты, за углы изб.

Белесые призраки бродили в старом парке, закутанные в саваны, проходили в мраке аллей медленные их шествия. И штаб тонул в дымных струях до рассвета.

Чуть слышно покрякивая от сырости, сидел на темной веранде начштаба, посвечивал папиросой и вслушивался в ночь. В жухлой листве, сбитой ветром в угол веранды,

шуршали мыши, да от кухни доносило упорные голоса денщиков.

Далеко, в конце парка, глухо ухнул филин. Начштаба погасил папиросу и прислушался.

В ту же минуту за стеклянной дверью террасы медленно зазвонили часы.

„Vulnerant omnes, ultima necat" (ранят все, последний убивает),—повторил про себя начштаба латинское изречение, вырезанное на оловянном круге циферблата.

Крик повторился ближе и явственнее. Тогда начштаба поднял капюшон непромокаемого кожана и, высокий и прямой, как привидение, неслышно спустился по каменной лестнице в текучую, сырую муть ночи.

В конце аллеи из-за башеноподобного дуба выступила навстречу ему молчаливая фигура. Несмелый голос спросил:

— Кто идет?

— Свои,—густо пробасил начштаба.

— Что пропуск?

— Ранят все,—сказал начштаба и спросил от себя:— Что отзыв?

— Последний убивает.

— Так,—довольно оглядел начштаба молодого незнакомого офицера, зябко поднявшего плечи.

Начштаба любил задавать трудные пароли и строго требовал, чтобы отвечали без запинки.

— Все в сборе?—отвел он руку взявшего к козырьку офицера.

— Так точно.

Офицер снова отступил за дуб, а начштаба повернул в боковую аллею.

В штабе, за запертыми ставнями, подавляемый пустотой высоких комнат, один сновал маленький генерал. Как беспокойный зверек, посаженный в клетку, он бегал по привычному кругу, проводя рукой по спинкам высоких кресел, по резному краю дубового буфета, по подоконникам. Останавливался в углу и подолгу слушал.

За ставнями затаенно текла ночь,—без огней, без звуков. Только сквозь стены, как бы из глубокого подполья, доносило кухонное жужжание Япошки и Наполеошки.

— О боже, боже мой!

Выглянул на кухню:

— Эй, вы! Ложитесь-ка спать!

Взъерошенные спорщики вскакивают.

— Да двери не забудьте закрыть! Поняли?

Генерал смотрит поверх очков долго и подозрительно на оторопелые лица денщиков.

— Да прекратите жужжать! Слышите? Ну, о чем тут вы? — подходит ближе генерал.

Денщики заухмылялись:

— Насчет замиренья все, — будет ли, нет ли?

— Ишь ты, — повернулся, сердясь, генерал. — Вас только об этом не спросили. Не вашего ума дело, поняли?

— Так точно.

Генерал хлопнул дверью. Прошел опять в столовую, посмотрел на часы, хмуро водившие желтым оком.

Было всего девять часов. Генерал прикрутил лампу и прислушался. Почему такая тишина? Точно попрятались все сегодня. Даже начштаба затих, не слышно его мерных, твердых шагов.

Генерал раскашлялся нарочно громче. В доме было попрежнему тихо. Только какая-то глубокая пружина в часах отозвалась на его голос мертвым стариковским бормотанием.

Тускло водя тяжелым оком, часы как бы говорили ему старинной мудростью:

„Что все ваши временные волнения? Ранит каждый час, но помни о том последнем часе, который убьет".

— О боже, боже мой! Ну, надо итти спать.

Перед сном генерал обходит дом, посвечивая фонариком в темные закоулки коридора. Заботливо ощупывает запор на парадном крыльце, бьет ладонью по тугой задвижке у двери на чердак. Теперь все в порядке.

Генерал лег спать. И опять долго ворочался в отсыревшей постели и слушал: нет, уж лучше ветер за стеной и дождь, чем вот этакая проклятая тишь. Хоть бы мышь пискнула.

Жена вот пишет, что мыши в квартире вдруг пропали, — дурная примета, к несчастью, не иначе. Бабушка, бывало, всегда примечала, — хоть жили в доме два жирных ленивых кота, оба Васьки, белый и черный, но не переводились и мыши за шкафами, а если переводились, говаривала ба-

бушка: к голоду, к войне, к большой человечьей беде.

— О боже, как болит сердце! Когда, наконец, все это кончится?..

Тревожно заворочался генерал, и в лясканьи матрацных пружин вдруг почудился ему тягучий скрип двери, ведущей на веранду. В самом деле, он забыл проверить — заперта ли.

Генерал спустил ноги в мягкие коты и долго вслушивался. Ага, вот и кресло громыхнуло в столовой: кто-то там ходит, надо посмотреть.

Он откинул крючок и выглянул в коридор.

— Кто там?

Дверь в столовую мгновенно налилась трепетным, мрачным огнем глохнущей в последнем сопротивлении лампы и задернулась тьмой. Генерал отпрянул назад. И тут же услышал над головой у себя, где-то на чердаке, тяжелые, крадущиеся шаги, — зашуршал за обоями обильно посыпавшийся песок. Что это?..

Чувствуя, как похолодела спина, генерал тороплизо нащупал на столе браунинг и стал за косяком у двери в столовую.

— Я буду стрелять, — громко сказал он, — считаю до трех. Раз!..

Ни шороха. Мерно тикали часы. От хорошо вытопленной печи в спину приятно несло теплом. В настороженной тишине где-то в недрах старинного буфета ожесточенно заскреблась мышь.

— Два, — сказал неуверенно генерал, опуская револьвер.

Неужели все это опять от нервов? Но ведь он так ясно слышал этот скрип двери, притом же и лампа погасла. Странно. Очень странно.

Вытянув вперед руку, генерал осторожно перешагнул порог. И тут под ноги ему с грохотом опрокинулось высокое кресло, и тяжелый промахнувшийся удар холодом и гудом опахнул его лицо.

— Три! — торопливо вскрикнул генерал и выстрелил.

В коротком взблеске огня видел он лежащее боком кресло и как бы застывший на отлете круг маятника. И опять гудящий, острый удар рассек перед ним воздух.

— Ты та-ак? — обозленно отскочил в сторону генерал и выстрелил снова в невидимо наступающего врага.

Быстрый, тяжелый толчок, острой болью отозвавшийся

в спине, заставил генерала согнуться. Чувствуя невидимый упор, он упрямо рванулся вперед, но странная слабость подсекла ноги, стали они мягкие, как глина, и генерал грузно осел на пол. Что-то теплое и податливое ткнулось ему в руку, он выстрелил снова.

— В чем дело?—услышал он испуганный голос прапорщика Вильде.

— А, так это ты?..

Взбурлившая ненависть затмила сознание генерала, с яростью он нажал курок еще и еще раз.

Наступила тишина, в ней еще долго и болезненно гремела ответно на выстрелы часовая пружина. И еще—протяжно вздохнул в темноте глухой, незнакомый голос.

— Да в чем дело?—удивленно спросил опять голос Вильде, но ему никто не ответил.

Далеко где-то хлопнула дверь, загалдели многие голоса, потом блеснул от кухни свет, и по коридору затопотали тяжелыми сапогами люди.

— Руки вверх!—крикнул грозно Левка, свисая черной кривой тенью на пороге столовой.

За спиной его размахивал снятой с крюка лампой Наполеошка; от этого в столовой перебегали и прятались быстрые тени.

— Сдавайтесь!—крикнул опять Левка.—Штаб оцеплен, никто отсюда не уйдет.

С винтовкой наперевес шагнул он к скрюченному в углу прапорщику Вильде:

— Руки вверх!

— Ничего не понимаю,—сказал тот и раздраженно поднял руки.—Кто тут стрелял?

Он сидел на полу в одном белье, бледный и всклокоченный, зло сверкая глазами из угла.

Левка недоуменно огляделся. Растерянно охая, приседал рядом Наполеошка. Висячая лампа касалась пола и наливалась дополна огнем, бросая тревожные отблески зарева на опрокинутые кресла и лежащих недвижно людей.

Неподалеку друг от друга лежали генерал и Степа Колобашкин. Генерал лежал, рассерженно сдвинув бровки, с раскинутыми по сторонам кулачонками. А Степа, как всегда, лежал, подтянув ноги, лицом к стене. Между ними легла окровавленная винтовка.

— Дайте мне иоду и бинт, видите — я ранен, — сказал нетерпеливо прапорщик Вильде.

По худой волосатой его ноге, выставившейся из-под кресла, кривыми полосками бежала кровь.

— Объясните мне, в чем дело? — спросил теперь Левка.

Прапорщик Вильде, морщась от боли, усмехнулся:

— Одно знаю, что я тут не при чем.

Тугая дверь с веранды скрипнула, и в столовую широко шагнул окутанный туманом начштаба. Черный кожан его блестел от сырости, из-под надвинутого капюшона торчал крупный иззябший нос.

Навстречу ему сразу вскинулись штыки. И жестко щелкнули винтовочные затворы.

— Вы арестованы! — гаркнул Левка. — Руки вверх!

Начштаба сжался и вытянул твердые руки по швам, — вскинул только высокие плечи и голову, как бы в ожидании удара.

— Сдавайте оружие! — подошел вплотную Левка.

— Я не ношу оружия, — сказал глухо начштаба.

— А это что? — схватился Левка за кобуру на его поясе.

Он рванул шнурок, и в воздухе взболтнулись холостяцкие, много раз заштопанные шерстяные носки. Лицо начштаба не изменилось. Только в углу рассмеялся прапорщик Вильде.

Досадливо сказал Левка:

— Все равно, нам все известно. По постановлению комитета, объявляю всех офицеров штаба арестованными. Ваш контрреволюционный заговор раскрыт. Вы должны указать, где происходит заседание заговорщиков. Я жду...

Левка сел за стол. Поминутно глохла лампа в руках скованного ужасом Наполеошки. Неизвестное нечто насвистывал прапорщик Вильде, деловито затягивая бинтом ногу ниже колена.

— Я жду ответа, — повысил голос Левка.

Начштаба молчал.

В старом, затихшем доме, где-то в дальних концах нарастали непонятные, тревожные шорохи.

Левка подождал, выстукивая ногтями по столу частую дробь. И потянулся в кресле, еле размыкая челюсти от напавшей вдруг нервной зевоты:

— О скука, скука! Вот где есть скукота, а-ха-ха...

Он оглядел солдат державших винтовки наизготовку, и сказал загадочно:

— Той ночью был экс.

— Что такое? — поднял голову Вильде.

Левка посмотрел на него свысока:

— Это дело революционеров, вам ни к чему. Революционеры не спят, они предпочитают действовать. Бедный Степа, — заглянул под стол Левка, — он-таки был безусловно прав.

Левка вскочил и нетерпеливо топнул:

— Ну? Так что же? Где заседание?

Начштаба, вздрогнув, обвел глазами уставленные острия штыков, опрокинутые кресла и винтовку с полными кровью желобками штыка, легшую между генералом и солдатом. И медленно, точно вспоминая, сказал:

— Заседание?.. Оно уже закрыто.

XVIII

Посредине привокзального скверика, вокруг большого серого камня шли митинги. Стоял тут раньше памятник Александру Второму. Бронзовое тулово царя лежало теперь в сторонке, уткнувшись пышными подусниками в жидкую осеннюю грязь. На высветлившейся спине царя привычно посиживали курильщики.

Вокруг камня целыми днями шли споры о войне и мире, о судьбах России, о революции.

Один за другим сменялись на высокой ступеньке камня ораторы, и с утра до ночи надрывались здесь страстные голоса под ровный гул барахолки, широко разлившейся вокруг скверика. Солдатская толпа вплотную обступала серый камень и, равнодушно сплевывая семечки, сотнями настороженных глаз следила за ораторами, наезжавшими сюда из города.

Проходя через скверик на барахолку, Мариша не раз замешивался в толпе. В измятой солдатской шинели и заросших грязью сапогах Мариша ничем больше не выделялся из серой толпы. Прячась за недвижные солдатские спины, понуро слушал он саднившие душу слова ораторов о гибнущей родине, о черном позоре дезертирства. И было беспокойно Марише оттого, что, слившись теперь с солдатской толпой, он тоже не верил больше этим опыт-

ным говорунам и как бы с облегчением прислушивался к бесхитростным возражениям самих окопников.

Вот и сегодня:

— Немец усю правду знае,—задорно выкрикнул присевший на царский затылок чубатый артиллерист.—Вин знае, що у нас робится.

И сочувственно следил Мариша за взбирающимся на камень рябым пареньком, победно махнувшим над толпой мерлушковой шапкой:

— Немец так говорит: мы не враги, а враги те, которые нас заставили драться. Я сам был в ихних окопах и сам слышал,—об том передаю вам. Наше начальство говорит, что мира не будет, пока не разобьем германца. Так это ложь. Довольно нас обманывать за семьдесят пять копеек в месяц, хлеба не хватает, мяса не дают, а только рыба порченая, сахару мало. Небось, для пузанов всего хватает, они за деньги предались. У нас тут одно хабарство идет!..

Паренек сердито нахлобучил на уши шапку и спрыгнул с камня вниз, в толпу.

Солдаты дружно и долго хлопали. Дослушав паренька, Мариша выбрался из толпы.

„Вот именно: у нас тут одно хабарство,—довольно повторял про себя это впервые услышанное слово.—Одно хабарство".

Мариша присел на скамью подле низенькой решетки сквера. Кругом ходнем-ходило разлившанное море барахолки. Перекликались за оградой зазывные голоса:

— Семечки, семечки! Жареные семечки!
— Шинеля-а берем, шинеля-а!
— Есть сахар. Кому сахару?
— А во-от сапоги нено-шеные!
— Семечки, семечки, семечки!
— Налетай, налетай!
— ...нено-шеные!—терялось в гуще толкучки.

„Глядите сюда!—хотелось крикнуть Марише в ответ на суровые попреки ораторов.—Глядите, что осталось от вашей великой войны! Ха-ха-а! Ба-ра-хол-ка!.."

Вдоль решетки пробирался, качаясь на костылях, инвалид, с подвернутой штаниной, с лицом необыкновенно румяным и жизнерадостным. Он высоко встряхивал в воздухе связкой георгиевских крестиков и оглядывался кругом весе-

лыми глазами. Наклонился к Марише, пронзительно дохнув спиртом:

— Один — полтора, пара — два с полтиной?

Мариша отрицательно кивнул головой. Инвалид закачался дальше, весело покрикивая:

— Один — полтора, пара — два с полтиной.

Стоявший рядом с Маришей толстый сапер густо плюнул вслед инвалиду и пулеметно изругался:

— Российское воинство!.. Мать-мать-перемать!..

Мариша оглядел складную, хозяйственную шинель сапера и квадратные, облипшие мокрыми листьями его сапоги, глянул в маленькие белесые глаза и, к удивлению своему, не нашел в них и тени осуждения: сапер смотрел на толкучие толпы барахолки с благодушным удовольствием.

Мариша не выдержал и прыснул в рукав себе.

— Ты чего, малайка? — придвинулся сапер.

— Ничего, — сказал Мариша.

— Опасаюсь я, — понизил голос сапер, — говорят, с Питера полк пригнали, раскасцировать нас хотят.

— Какой полк? И за что раскассировать? — заинтересовался Мариша.

— А я знаю? — вдруг подозрительно оглядел его сапер и без оглядки зашагал прочь.

Весело недоумевая, Мариша пошел бродить по барахолке.

И слышал в толпе тихие голоса:

— Приехали, сам видел. Рабочие все. Железный батальон — называется.

— Да зачем приехали-то?

— Поди спроси.

— Говорят, какой-то контра-генерал забунтовал будто.

Мариша обошел „Холодные“ ряды, где вдоль забора поделили территорию походные швальни, сапожные и парикмахерские.

Рыжий портной вытащил сюда стрекочущую зингерку и, как гонщик на велосипедных состязаниях, яростно нажимал ногой педаль, торопясь подхватить брюки из рук следующего заказчика. Была чрезвычайная мода на галифе, и ближайший из очереди солдат давно уже сидел без брюк, прикрывши колени от нескромных глаз газетой. А перед кривым базарным зеркалом, приставленным к забору, еще

любовался на куцые пузырики галифе только что отпущенный модник.

Рядом, присев на корточки, бродячий парикмахер косил густейшую бороду только что прибывшего окопника.

Окопник терпеливо мычал под скребницей мучителя, бесполезно ища в сером небе, на чем бы остановить блуждающие глаза.

Тут же враздробь стучали молотками сапожники и прыгали вокруг на одной ноге по грязи, не попадая ногой в залатанный сапог, солдаты.

И здесь в солдатской толпе шли тревожные разговоры:

— Пробки делают. Со всех сторон думают нам дорогу закрыть, чтобы на фронте стояли.

— Кто? Красногвардейцы?

— Какие, к чорту, красногвардейцы! Слушай ухом, не брюхом. Офицера! На узловых станциях отряды с пулеметами выставляют, чтобы у солдат оружие отбирать, и из вагонов ссаживают. Говорю: пробки нам ставят.

— Ат, паразиты! Мало ихой банды на штык посадили.

— Все на старое глядят.

— Ну, погоди ужо!..

На пустыре за вокзалом, куда переливалось не вмещающееся на привокзальной площади солдатское море, обыватели раскинули в несколько рядов обжорные палатки. Ряды эти ехидно окрестили „Дезертирскими".

Здесь бойко шла купля-продажа. С утра до ночи в густой каше грязи топтались на Дезертирке солдаты, толпились вокруг смрадных жаровен, присаживались похлебать горячей бурды из больших ротных котлов Вани Кашевара.

Любимец солдатской барахолки Ваня Кашевар, оборотистый паренек из полковых раздатчиков, развел великие костры прямо на площади. В клубах дыма и пара взбирался Ваня Кашевар на высокий ящик, встряхивал на вилке распаренный бычачий язык и кричал звонко:

— Теш-ча, теш-ча околела, деш-шева язык продать велела...

На упоенный крик Вани густо сбивались вокруг солдаты, и около котлов не убывали очереди.

Еще торговал Ваня Кашевар из-под полы ворованным спиртом и брал, коли не было денег, любыми вещами, не глядя на казенные клейма. Зато и любили все на Дезер-

тирке тароватого друга Ваню, на зависть всем другим палаточникам.

Впрочем, все торговали на Дезертирке без просчета. Обжорные ряды еле успевали наготовить жратвы на прибывающих с фронта окопников. Было тут все, чего требовала изголодавшаяся солдатская душа. Над серой, ровно жующей толпой, сквозь всхлип и шкворчанье жаровен перелетала из конца в конец зычная перекличка.

— Есть жареная колбаса!

— Стюденю! Стюденю!

— Деш-шевые, гар-рячие аб-беды!

— Кому борща? Кому борща?

— С картохлем, с картохлем!

— Наливаю, разливаю, потчую!

Но всех забивал веселый Ваня Кашевар:

— А вот свежая говядина керенского убою. Во имя отца, до победного конца. Товарищам фронтовикам, а также тыловикам, всем без разбору, в любую пору, вашему благородию — корниловскому отродию, господам поручикам и капитанам, отставным генералам, совсем задаром, военным сестрицам, не глядя на лица, ратникам второго разряда всегда будем рады. Торгуем без убытка, сегодня всем скидка. Сам бы ел, да холеры боюсь, — неожиданно заканчивал Ваня.

Он переводил дух и начинал сызнова под хохот сбившейся солдатни:

— Товарищам фронтовикам, а также тыловикам...

И вдруг, точно грозный ветер пригнул толпу: близко где-то звонко пропела сигнальная труба, потом надолго полился глухой рокот барабанов. Сразу стихло все, на полслове осекся Ваня, — в тишине отчетливо забурчали одни жаровни.

— Идут! Идут! — пронеслось по Дезертирке.

Двинулись серые толпы. Заметались беспокойно, бросились к выходу, опрокидывая палатки. Прихлынули к высокой вокзальной стене, тесно сжались и затихли здесь настороженной, готовой ежеминутно рухнуть глыбой. Мариша, затиснутый в угол, остро чувствовал это охватившее всех напряжение.

Постепенно начали оживать голоса:

— Не имеют права!

— Они, небось, в окопах не сидели.

— Ружья и у нас есть.

— Ребята, бери ружья.

Но никто не успел двинуться с места. Над барахолкой снова посыпалась глухая дробь барабана, и отчетливый, спокойный голос сказал:

— Правое плечо вперед, арш! Прямо!..

Из-за угла железнодорожного склада показались первые черные ряды.

Мариша, притиснутый далеко к кирпичной стене, жадно вытягивал шею.

Впереди шел командир, высокий и тонкий юноша, в распахивающейся на ходу, непомерно длинной шинели. Он любопытно поглядывал по сторонам, — в тени надвинутого на глаза прямого козырька кепки остро поблескивали чистенькие стеклышки пенсне. И на молодых губах его вдруг закривилась беззаботная, слегка пренебрежительная улыбка.

Командир приотстал и что-то сказал первому ряду. Те вскинули головы и огляделись, но хмурость не сошла с их лиц.

Дробь барабанов все гулче заполняла площадь. Тревожно вылетели из-под вокзального карниза голуби, заметались над пустырем, взмывая к холодному небу.

В отряде шли не в ногу и без особой заботы насчет равнения рядов. И одеты все были пестро, в большинстве без шинелей, в легких, кургузых кожанках и сбитых на затылок кепках.

Но Маришу поразило другое — тяжелый груз оружия на каждом из них. И пояса и плечевые ремни — все было облеплено колючими шишками гранат. Кроме винтовок, у всех были револьверы, у некоторых по два, — без кобуры, попросту заткнутые за пояс. Многие крест-накрест опоясались пулеметными лентами.

Ряды все шли, накапливая густой строй. Казалось — то идет через площадь тяжелая, расшатанная машина, нагруженная до-отказа железом и смертью.

Солдаты, сбившиеся по сторонам, молча смотрели на проходившие ряды. Никто не решился задирать шагающих не в ногу, никто не крикнул им: „Сено-солома“ или „Хлястик потерял“, или еще что-нибудь обидное.

В полной тишине полк прошел быстрой и дробной ступью сквозь расступившуюся по сторонам барахолку и

скоро утянул скрежещущий патронными двуколками хвост за вокзальный угол.

Сбитая к стене солдатская толпа шумно отхлынула. Снова сомкнулось серое месиво бараholки. И неуверенно заперекликались опять голоса:

— Шинеля, шинеля-а!

— ...нено-ошенные!

Только Ваня Кашевар с руганью собирал затоптанные в грязи куски говядины: в панике были опрокинуты его большие котлы.

— Чортова гвардия, леший носит!

— Ничего,— утешали Ваню солдаты,— не пропадать добру: завтра скормишь.

— Гвардия тоже!— не унимался Ваня.— Погоди ужо, эта гвардия скрутит тут нашего брата. Не зря наехали!

— А чего скручивать-то? Нам бы только отсель домой уехать. Не своей волей тут сидим.

— Раз они товарищи, значит, должны понимать.

— Товарищи они больше насчет „товар ищи“,— косо оттягивая губу, подмигнул толпе толстый сапер в хозяйственной шинели.

Он крутился за спиной Вани Кашевара, похлопывая себя по оттопыренным карманам; при этом в разрез шинели юрко высовывалась и пряталась сургучная головка бутылки.

— Рвань мастеровая,— огляделся сапер,— а не гвардия. Кишка тонка.— обыскивать нас!

— Ну ты!— заогрызались в толпе.— Заткни плевало!

— Которые с чехаусов тащат что ни попало,— засипел мухрастый солдатишка из обозников, ехидно оглядывая сапера,— тех, конешное дело, надо обыскивать да отбирать.

— Ишь, шинель-та офицерскую завел,— подступали к саперу,— да еще агитацию пускает. Ты большевик, али кто?

— Водка есть — я большевик, водки нет — я меньшевик,— попробовал отшутиться сапер.

— Ух ты, мурло поганое! Небось, на нашей шее войну сидел.

— Тре-пло, вот ты кто!

Мариша пошел в вокзал.

В конце платформы красногвардейцы вкатывали на площадку орудие. Обмотанные канатами, они крепко упирались ногами в накат и покрикивали напряженными голосами:

— Бери! Вира помалу! Иде-от! Иде-от!

И в такт плечевым рывкам орудие моталось длинным хоботом в сером небе.

На платформу не впускали. Около двери стояли двое широких красногвардейцев. Они вспоминали о чем-то весело и гулко хохотали оба, глядя друг другу в глаза. Только изредка сухо оборачивались к подходившим:

— Нельзя!

И тут было видно в крутых складках их лиц давно и глубоко въевшуюся черными точечками копоть. Сбившиеся в кучу солдаты прислушивались к разговору — о том, как кто-то куда-то опоздал, и как все за это ругали опоздавшего, — ничего не могли понять и тоже усмехались, глядя на хохочущих.

Пытались заговорить:

— Товарищи, когда впускать станете?

— Когда кончим посадку.

— А куда вас гонют?

— Кто нас гонит? Мы добровольные.

— А в какую сторону, далеко ли?

— Недалечко.

— Может, подъехать с вами можно? Неделю тут сидим.

— Нельзя!

И красногвардеец поворачивался дюжей спиной с глубоко врезавшимися в плечи под тяжестью чугунных гранат ремнями.

С такими, видно, не сговоришься. И солдаты отходили прочь.

Потом караул сняли, и поезд сразу тронулся. Перед высыпавшими на платформу солдатами замелькали теплушки с уставленными в дверях рыльцами пулеметов.

Остающимся помахали ручкой.

XIX

Поезд замедлил ход, прощелкал на стрелках, нудно застонал в сцеплениях, перекликнулся буферами от края до края и стал.

И ударившая в уши тишина вдруг прорвалась неистовыми криками, ревом сотен глоток.

На платформе ходнем ходило серое солдатское море, накатываясь на остановившийся поезд широкой вздувшей-

ся лавиной. У входов в вагоны сразу образовались засасывающие водовороты. Зазвенели где-то выдавленные стекла. С грохотом застучали по крышам вагонов ковные солдатские сапоги.

В недвижно стиснутой толпе Мариша видел угрюмые, сизо-бесцветные лица под нахлобученными фуражками; по ним сек тяжелый дождь, и казалось от этого, что на всех лицах застыла большая, терпеливая грусть.

Под напором задних солдаты наступали густой стеной. А сквозь толпу издали пробивался огромный рыжий мужик в шинели — он закинул мешок за спину и держал его на весу крепкими волчьими зубами, а свободным плечом пробивал толпу, наседая сверху, как ледокол.

Последив глазом за рыжим мужиком, Мариша безнадежно повернул к вокзалу.

Итак, шестая ночь на асфальтовом полу, с жестким мешком в изголовьи, среди густо затисканных, жарких тел.

Мариша уже привык к этой полной затерянности в серой толчее вокзала. Его маленькая бедственная судьба не интересовала здесь никого: все так...

Запрокинув голову в провал между тугими мешками, Мариша вытягивался на подстилке.

Томит духота. Перебрасывается из конца в конец заливчатый, с бульканьем и клокотанием храп, кашель спросонья, запутанный бред.

Казалось Марише — это одно огромное тело вытянулось на полу, шевелит раскинутыми руками, толкается где-то в дальнем конце, у стойки затекшими ногами и дышит со свистом одной огромной грудью.

„У меня жар, — тревожно садился Мариша, трогая лоб. — Который может быть теперь час?“

Зачесался рядом сибиряк-ополченец, протяжно зевнул:

— И-хо-хо-о! — Пробормотал сонным, безразличным голосом: — И за что только людей мучают?

„Да, за что?“ — повторил про себя этот вопрос Мариша.

Безнадежность повисала над ним. Прибывающие поезда захлестывало все сильнее, сегодня унесли пятерых на носилках. А вчера, говорят, срезало за семафором трсим головы на полном ходу: сидели на крыше за чаем, не успели нагнуться, — отхватило проводами под железнодорожным виадуком.

„Так и покатились: инде голова, инде чайник“,—рассказывал сосед-ополченец.

Да многих, говорят, сняли с буферов замерзшими,—ночи пошли холодные.

Солдатская злоба начинала бродить в Марише, злоба против всех тех, кто живет там сытой, удобной жизнью.

Эх! „Буржуи“!..

Представлялось Марише, как придет он теперь к дяде Коле. Дядя Коля, конечно,—„до победного конца“: он патриот. Ложась после обеда на диван, он долго шелестит газетой:

— Верушка, подойди-ка к карте. Наши ерои опять сплоховали. Оставлены Сувалки, слышишь?

И ленивая тетя Вера вперевалку идет к карте переставить флажки:

— Это большой кружок, или маленький—Сувалки?

А дядя Коля уже накрылся газетой с головой и сладко посапывает.

И тут входит, громко стуча сапогами, он, Мариша, „ерой“, грязный и взъерошенный беглец с фронта. И смотрит на них обоих:

— Ну, что, голубчики? Испугались?..

Сквозь тяжелые всхрапы и стоны спящих, в густой горячей духоте откуда-то сверху падают пять торопливых ударов.

Должно быть, это пробили круглые часы вон там, над буфетной стойкой. Странно, что за все шесть дней Мариша ни разу не слышал в гомоне вокзала их домашнего простого боя.

„Только пять“,—поник головой Мариша.

Ночь ломается на утро, но утра еще нет. Мариша не любил этот предрассветный угрюмый час. Хорошо бы уснуть. Но сна не было.

Сопя и почесываясь, в шинелях внакидку, уже пробирались к выходу солдаты, гремели чайниками, кто-то спрашивал время. Захлопала дверь, и над спящими потянуло холодным сквозняком, остро пахнувшим клозетом.

„Да, так что же я скажу растерянным дяде Коле и тете Вере?..“

В памяти Мариши поплыли, как на экране, соединяясь в одну цепь, чудовищные события последних месяцев, замелькали знакомые и незнакомые лица.

„Итак, что же такое война? Что я могу об этом сказать? Я только маленький, незаметный свидетель, молчаливой тенью прошедший в этих событиях. Я не видел „прекрасного и гневного“ лика войны, видел только ее отвратительные „задняя“, как говорит Вильде. Но ведь и все, кто лежит тут кругом,— они тоже видели только „задняя“, спроси любого. Значит, это и есть правда, и только в эту правду надо верить со всем народом, тогда все будет хорошо“.

„Надо выйти на воздух,— решил Мариша,— видно, я не засну“.

Перешагивая через спящих, он пошел к выходу, на платформу.

Мариша долго бродил один меж темными пакгаузами, в глухих тупиках железнодорожных строений.

Было холодно и темно. Ночной ветер раскачивал фонари, тревожные тени перебегали по стенам. С шумом таскал ветер по асфальту клочья газет, сгонял их в углы, где крутились пыльные хвостатые вихри.

Асфальт на ночном холоде звенел под ногами. В черных проулках меж пакгаузами пламенели крупные звезды.

Неподалеку где-то шипел маневровый паровоз, лязгал на сцепке буферами и приглушенно погукивал. Звал в дорогу, в ветреные лесные перегоны, в проскакивающие полустанки,— туда, в Москву.

От этой бессонности вокзала снова стало тоскливо Марише. Бросить вещи, вскочить в первый попавшийся вагон, уехать все равно куда. Или пойти прямо,— где-то за пакгаузами начинаются дороги,— зашагать по утренней, крепкой земле мимо деревень, мимо городов, все дальше и дальше от фронта.

Фронт,— в какой он лежит стороне? Что там сейчас? Цылечка... Ее быстрая легкая тень мелькнула вдруг перед глазами, как тогда в аллеях парка. „Ах, Цылечка, Цылечка, мы никогда с вами больше не встретимся! А помните, вы хотели уехать со мной,— „где-то есть хорошие люди“. Фронт отнял вас у меня, не вышла наша любовь. Как сказано: все покупается, все продается...“

Грустно глядя под ноги, побрел Мариша к вокзалу.

— Мариша?— знакомо окликнул его чей-то голос.

Мариша вздрогнул и оглянулся. От стены, крадучись, отделилась высокая гибкая фигура. Из-под заломленной

на затылок солдатской папахи глянули на него в упор огненные глаза Космачева.

— Господин капитан?—по привычке вытянулся было Мариша.

То неосознанно тревожное, что жило все эти дни в Марише, вдруг колыхнулось и замерло в нем:

„Знает, или не знает?“

— Идемте-ка в тень,—повернулся Космачев.

Еле передвигая непослушные ноги, Мариша безвольно двинулся за ним.

— Вы как здесь?—остановился за углом Космачев.

— Да вот не могу попасть на поезд.

— Идемте, нас сейчас посадят.

— Куда?

— Как—куда?

Космачев недоуменно посмотрел на ежившегося от ветра Маришу. И вдруг схватил его руку горячими, цепкими пальцами:

— На юг, на юг надо!

И страстно зашептал на ухо имена знаменитых генералов.

— Все там. Дядю вашего вчера отправили туда же. Надо ехать туда, откуда зачинают. Поняли?

— Как?!—поразился Мариша.—Дядя тоже бросил фронт?

— Не бросил, чудак ты! Офицеров бьют, понял?

Космачев выглянул за угол и снова перешел на шопот:

— Биты, кругом биты. Было у нас, знаешь, собрание ночью в костеле, сидели на хорах, обсуждали положение. Вдруг тревога: штаб окружают, и в доме стрельба. Мы, понятно, хотели итти на выручку, но полковник сказал: „Сейчас бой принимать глупо“. И пошел один. Его конечно, сразу арестовали. А стрелял знаешь кто? „Куриный генерал“, Петр Петрович, ха-ха, молодец, ей-богу! До последней пули отстреливался, царство небесное. Ну, а наутро и нас всех переарестовали, как миленьких. Выбирали, как по списку. Понимаешь, нашелся иуда-предатель среди своих...

Глаза Космачева мрачно сверкали в темноте. Он поймал руку Мариши в железные плоские ладони и стиснул.

— Мне плевали в глаза, Мариша.

Голос его перехватило ненавистью:

— И я теперь, как сукин сын, тоже плевать хочу на дорогую родину. Вот! В душу, в веру, в кровь!

От холода, охватившего плечи, от бессонной, тревожной под качающимися фонарями платформы, от жаркого шопота над ухом вдруг передернуло Маришу тряским, беглым ознобом. Он стиснул зубы и твердо посмотрел в темные глаза Космачева.

— Полковника Добровольского знали? Такой румяный, с белыми усами? Так вот. Тут сформировался польский корпус, он и пристроился в одном из полков командиром. Я, как узнал, решил пробраться к нему. Все-таки однополчанами были, в картишки не раз перекидывались. Являюсь: так и так, мол, Миша, прими меня в число наемников своих. Смотрю — жмется. „У нас, говорит, офицерского состава сверхкомплект, сегодня всем отказываю". Хорошо, говорю, я согласен хоть рядовым. „Ах, говорит, господа (заметь, заметь, Мариша!), — ах, говорит, господа, но ведь у вас своя родина есть". Ты по-ни-ма-ешь? Тут я и сел. Только чувствую, что краснею, дотла краснею. И у него, гляжу, глаза забегали, и лысина кровью наливаться стала.

Космачев злобно отхаркнулся.

— Да, встал я и говорю этак тихонько: „Мне, полковник, оч-чень стыдно. Стыдно и больно, что русский человек такой продажной свиньей оказывается". Так и сказал. А он мне тоже тихонько: „От продажной свиньи и слышу". Оглянулся я, хотел ему в жирную морду дать тычка, да кругом писаря снуют: „Пане, пане..." Плюнул и ушел. Вот, Мариша, подлость какая, а? Ведь знаю отлично, что кроме фамилии у него ничего польского. Попович из Чернигова. Так он же мне смеет о родине говорить, а?

Снова поймал Космачев руку Мариши, тискал ее и беспокойно заглядывал в глаза. Голос его дрогнул:

— Я семь раз ранен, Мариша. Моя жизнь загублена. От контузии у меня голова болит и мысли мешаются. Я верил, Мариша, что все это для родины. А тут...

Космачев прислонился к стене и смолк. Стесненно молчал и Мариша. Потом Космачев встряхнулся, по-солдатски высморкался на сторону и дрожащей рукой закурил. Неожиданно и облегчающе засмеялся:

— Р-растак ее в душу, и в гр-роб, дорогую родину! Вот! Я теперь ясно вижу: фальшивая, интеллигентская выдумка эта родина. Пуф! — дунул — и нет ее. Разве есть у

этой шпаны родина? Родина у них то самое место, на котором сидят.

— Это не так,— сказал решительно Мариша.— Они не ценили своей родины только потому, что жили очень плохо в своей стране. Их гнали умирать, а они даже не знали — за что. Их нельзя так судить.

Космачев зорко нацелился на затененное лицо Мариши и свистнул:

— Ну, милый мой, я не знаю, во что вы верите и на что надеетесь. А я уж сгорел тут. Меня всего взяла война. Я ничего больше не умею и не могу. Я даже не хочу думать. Вот! Меня сейчас вдохновляет одно слово — „месть". За боль, за весь позор... От одной мысли у меня темнеет рассудок. Зачинается дело, понимаете? Секим-башка, понимаете?..

Марише показалось, что Космачев даже подплясывал от возбуждения.

— Видели, давеча тут гвардия ихняя проходила? Ах, у меня чесались руки! Бом-м-мбу бы!..

Мариша вздрогнул и беспомощно оглянулся.

— Что вы все отворачиваетесь? — надвинулся близко Космачев, сверкая вывороченными белками.— Неприятен я вам, да? Ну, прощайте, мне пора. Поклон белокаменной. Не знаю, свидимся ли когда.

Он поймал обвисшую руку Мариши и задержал.

— У вас, должно быть, рука легкая. Пожелайте мне счастливой дороги, что ли.

— Вы там увидите дядю? — спросил Мариша, высвобождая руку.

— Вскорости,— мотнул головой Космачев.

— Скажите ему, что я не выполнил его поручения.

— Как?! Вы не сдали бумаги в штаб?

— Я их передал в комитет.

— Во-от что-о!..

Лицо Космачева дико исказилось. Играющие пальцы его медленно собирали шинель на груди Мариши. Марише сразу стало тесно подмышками, и ноги его стали отрываться от земли.

Теряя равновесие, Мариша откинулся назад и уперся затылком в кирпичную стену. Он близко видел сверкающие глаза Космачева и возникший между ними черный глазок револьверного дула.

— Я кусаться буду! — задыхаясь, выкрикнул Мариша.
— Ты шч... ще-нок!..

Железная рука встряхнула его всего, лицо обдало горячим дыханием.

— Помогите! — закричал Мариша и, опрокинутый резким толчком в грудь, упал на асфальт.

Очнувшись, Мариша с недоумением увидел склонившихся к нему солдат. Он сел и ощупал саднивший затылок; пальцы его были в крови.

— В чем дело, братишка? — спрашивали солдаты. — Кто тебя, а?

Мариша застонал:

— Больно... Капитан Космачев... хотел меня убить...

— Капита-ан? Слышь, ребята?

— Где он?

— Он только что был тут.

Мариша махнул рукой в темный еще проулок и, почувствовав муть в глазах, привалился к стенке.

— Эт-то что же?..

— Офицера наших бьют.

— Ищи его, ребята! Хватай!

— Куда убежал? Туда?

Как сквозь сон, Мариша слышал удаляющийся топот тяжелых ног.

Он скоро пришел в себя. Кругом уже никого не было. Над пакгаузом, в черноте неба еще горели звезды.

Мариша брезгливо ощутил на своей ладони неестественный жар сухих, цепких пальцев Космачева. Казалось, жар этот уже проник заразой в кровь и медленно, зловеще поднимается к локтю и выше, от этого болит вся рука. Хотелось погрузить ее в воду, скорей подставить под холодную, чистую струю и держать так долго.

Мариша пошел, придерживаясь стены, к остывшему кипятильнику. Он тщательно вымыл руки, намочил платок и приложил к болевшему затылку, надвинув фуражку назад.

Потом завернул за высокую перегородку с надписью: „Для мужчин". Отстегнул крючки шинели и с торопливой яростью оборвал погоны с гимнастерки.

Задыхаясь от застойного, режущего легкие смрада, Мариша склонился над вонючей ямой и бросил в осклизлую ее глубь две маленьких, обшитых витым шнурком дощечки — знаки добровольца мировой войны.

Александр Зуев—Мир подписан
ГИХЛ, Москва 1933

*

Отв. редактор О. Резник
Технический редактор С. Симанов
Художник Н. Шишловский

*

Сдано в набор 1/IX 1933 г.
Подписано к печати 13 XII 1933 г.
Формат 82×110 1/32. Тираж 7000
Бум. л 1 1/8 115328 зн. в бум. л.
Зак. 2373

*

Инд. X-11. Огиз № 181
Уполномоченный Главлита Б-35 249

*

Школа ФЗУ Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига"
им. Арт. Халатова
Москва, Колпачный, 13

ЧИТАТЕЛЬ

СООБЩИТЕ ВАШ ОТЗЫВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ,
УКАЗАВ ВАШ ВОЗРАСТ И ВАШУ ПРОФЕССИЮ

ПО АДРЕСУ:

Москва, Центр, ул. 25 Октября
(быв. Никольская, д. 10/2)
Государственное издательство
художественной литературы.

МАССОВЫЙ СЕКТОР

ЦЕНА 1 Р. 30 К

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Москва — центр, ул. 25 Октября, 10.
СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, центр, Большой Черкасский, 2.
Книгоцентр